

## Сомерсет Моэм Луна и грош

### 1

Когда я познакомился с Чарлзом Стриклендом, мне, по правде говоря, и в голову не пришло, что он какой-то необыкновенный человек. А сейчас вряд ли кто станет отрицать его величие. Я имею в виду не величие удачливого политика или прославленного полководца, ибо оно относится скорее к месту, занимаемому человеком, чем к нему самому, и перемена обстоятельств нередко низводит это величие до весьма скромных размеров. Премьер-министр вне своего министерства сплошь и рядом оказывается болтливым фанфароном, а генерал без армии – всего-навсего пошловатым провинциальным львом. Величие Чарлза Стрикленда было подлинным величием. Вам может не нравиться его искусство, но равнодушны вы к нему не останетесь. Оно вас поражает, приковывает к себе. Прошли времена, когда оно было предметом насмешки, и теперь уже не считается признаком эксцентричности отстаивать его или извращенностью – его превозносить. Недостатки, ему свойственные, признаны необходимым дополнением его достоинств. Правда, идут еще споры о месте этого художника в искусстве, и весьма вероятно, что славословия его почитателей столь же безосновательны, как и пренебрежительные отзывы хулителей. Одно несомненно – это творения гения. Мне думается, что самое интересное в искусстве – личность художника, и если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок. Веласкес как художник был, вероятно, выше Эль Греко, но к нему привыкаешь и уже не так восхищаешься им, тогда как чувственный и трагический критянин открывает нам вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант своим искусством, возвышенным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство; но это варварское удовлетворение, оно сродни половому инстинкту, ибо он отдает вам еще и самого себя. Его тайна увлекательна, как детективный роман. Это загадка, которую не разгадать, все равно как загадку вселенной. Самая незначительная из работ Стрикленда свидетельствует о личности художника – своеобразной, сложной, мученической. Это-то и не оставляет равнодушными к его картинам даже тех, кому они не по вкусу, и это же пробудило столь острый интерес к его жизни, к особенностям его характера.

Со дня смерти Стрикленда не прошло и четырех лет, когда Морис Гюре опубликовал в «Меркюр де Франс» статью, которая спасла от забвения этого художника. По тропе, проложенной Гюре, устремились с большим или меньшим рвением многие известные литераторы: уже долгое время ни к одному критику во Франции так не прислушивались, да и, правда, его доводы не могли не произвести впечатления; они казались экстравагантными, но последующие критические работы подтвердили его мнение, и слава Чарлза Стрикленда с тех пор зиждется на фундаменте, заложенном этим французом.

То, как забрезжила эта слава, – пожалуй, один из самых романтических эпизодов в истории искусства. Но я не собираюсь заниматься разбором искусства Чарлза Стрикленда или лишь постольку, поскольку оно характеризует его личность. Я не могу согласиться с художниками, спесиво утверждающими, что непосвященный обязательно ничего не смыслит в живописи и должен откликаться на нее только молчанием или чековой книжкой. Нелепейшее заблуждение – почитать искусство за ремесло, до конца понятное только ремесленнику. Искусство – это манифестация чувств, а чувство говорит общепринятым языком. Согласен я только с тем, что критика, лишенная практического понимания технологии искусства, редко высказывает сколько-нибудь значительные суждения, а мое невежество в живописи беспредельно. По счастью, мне нет надобности пускаться в подобную авантюру, так как мой Друг мистер Эдуард Леггат, талантливый писатель и превосходный художник, исчерпывающе проанализировал творчество Стрикленда в своей небольшой книжке [Эдуард Леггат, современный художник. Заметки о творчестве Чарлза Стрикленда, изд. Мартина Зекера, 1917 (прим.авт.)], которую я бы назвал образцом изящного стиля, культивируемого во Франции со значительно большим успехом, нежели в Англии.

Морис Гюре в своей знаменитой статье дал жизнеописание Стрикленда, рассчитанное на то, чтобы возбудить в публике интерес и любопытство. Одержимый бескорыстной страстью к искусству, он стремился привлечь внимание истинных знатоков к таланту, необыкновенно своеобразному, но был слишком хорошим журналистом, чтобы не знать, что «чисто человеческий интерес» способствует скорейшему достижению этой цели. И когда те, кто некогда встречались со Стриклендом, – писатели, знавшие его в Лондоне, художники, сидевшие с ним бок о бок в кафе на Монмартре – к своему удивлению открыли, что тот, кто жил среди них и кого они принимали за жалкого неудачника, – подлинный Гений, в журналы Франции и Америки хлынул поток статей. Эти воспоминания и восхваления, подливая масла в огонь, не удовлетворяли любопытства публики, а только еще больше его разжигали. Тема была благодарная, и усердный Вейтбрехт-Ротгольц в своей внушительной монографии [Вейтбрехт-Ротгольц, доктор философии. Карл Стрикленд. Его жизнь и искусство, изд. Швингель и Ганиш. Лейпциг, 1914 (прим.авт.)] привел уже длинный список высказываний о Стрикленде.

В человеке заложена способность к мифотворчеству. Поэтому люди, алчно впитывая в себя ошеломляющие или таинственные рассказы о жизни тех, кто выделались из среды себе подобных, творят легенду и сами же проникаются фанатической верой в нее. Это бунт романтики против заурядности жизни.

Человек, о котором сложена легенда, получает паспорт на бессмертие. Иронический философ усмехается при мысли, что человечество благоговейно хранит память о сэре Уолтере Рали, водрузившем английский флаг в до того неведомых землях, не за этот подвиг, а за то, что он бросил свой плащ под ноги королевы-девственницы. Чарльз Стрикленд жил в неизвестности. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому писавшие о нем старались всевозможными домыслами пополнить свои скудные воспоминания, хотя и в том малом, что было о нем известно, нашлось бы довольно материала для романтического повествования. Много в его жизни было странного и страшного, натура у него была неистовая, судьба обходилась с ним безжалостно. И легенда о нем мало-помалу обросла такими подробностями, что разумный историк никогда не отважился бы на нее посягнуть.

Но преподобный Роберт Стрикленд не был разумным историком. Он писал биографию своего отца [книга «Стрикленд. Человек и его труд», написанная сыном Стрикленда Робертом, изд. Уильяма Хейнемана, 1813 (прим.авт.)], видимо, лишь затем, чтобы «разъяснить некоторые получившие хождение неточности», касающиеся второй половины его жизни и «причинившие немало горя людям, живым еще и поныне». Конечно, многое из того, что рассказывалось о жизни Стрикленда, не могло не шокировать почтенное семейство. Я от души забавлялся, читая труд Стрикленда-сына, и меня это даже радовало, ибо он был крайне сер и скучен. Роберт Стрикленд нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзогезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии. Мысленно я уже видел лиловые епископские чулки на его мускулистых икрах. Это была затея смелая, но рискованная. Легенда немало способствовала росту славы его отца, ибо одних влекло к искусству Стрикленда отвращение, которое они испытывали к нему как личности, других – сострадание, которое им внушала его гибель, а посему благонамеренные усилия сына странным образом охладили пыл почитателей отца. Не случайно же «Самаритянка» [эта картина описана в каталоге Кристи следующим образом: «Обнаженная женщина, уроженка островов Товарищества, лежит на берегу ручья на фоне тропического пейзажа с пальмами, бананами и т.д.»; 60 дюймов х 48 дюймов (прим.авт.)], одна из значительнейших работ Стрикленда, после дискуссии, вызванной опубликованием новой биографии, стоила на 235 фунтов дешевле, чем девять месяцев назад, когда ее купил известный коллекционер, вскоре внезапно скончавшийся, отчего картина и пошла опять с молотка.

Возможно, что стриклендову искусству не достало бы своеобразия и могучей притягательной силы, чтобы оправиться от такого удара, если бы человечество, приверженное к мифу, с досадой не отбросило версии, посягнувшей на наше пристрастие к необычному, тем более что вскоре вышла в свет работа доктора Вейтбрехта-Ротгольца, рассеявшая все горестные сомнения любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротголец принадлежит к школе историков, которая не только принимает на веру, что человеческая натура насквозь порочна, но старается еще больше очернить ее. И, конечно, представители этой школы доставляют куда больше удовольствия читателю, чем коварные историки, предпочитающие выводить людей недюжинных, овеванных дымкой романтики, в качестве образцов семейной добродетели. Меня, например, очень огорчила бы мысль, что Антония и Клеопатру не связывало ничего, кроме экономических интересов. И, право, понадобились бы необычайно убедительные доказательства, чтобы заставить меня поверить, будто Тиберий был не менее благонамеренным монархом, чем король Георг V.

Доктор Вейтбрехт-Ротголец в таких выражениях расправился с добродетельнейшей биографией, вышедшей из-под пера его преподобия Роберта Стрикленда, что, право же, стало жаль злополучного пастыря. Его деликатность была объявлена лицемерием, его уклончивое многословие – сплошным враньем, его умолчания – предательством. На основании мелких погрешностей против истины, достойных порицания у писателя, но вполне прощительных сыну, вся англосаксонская раса разносилась в пух и прах за ханжество, глупость, претенциозность, коварство и мошеннические проделки. Я лично считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда для опровержения слухов о «неладах» между его отцом и матерью сослался на письмо Чарлза Стрикленда из Парижа, в котором тот называл ее «достойной женщиной», ибо доктор Вейтбрехт-Ротголец раздобыл и опубликовал факсимиле этого письма, в котором черным по белому стояло: «Черт бы побрал мою жену. Она достойная женщина. Но я бы предпочел, чтобы она уже была в аду». Надо сказать, что церковь во времена своего величия поступала с неудобными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротголец был пламенным поклонником Чарлза Стрикленда, и читателю не грозила опасность, что он будет всеми способами его обелять. Кроме того, Вейтбрехт-Ротголец умел безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий. Психопатолог в той же мере, что и искусствовед, он отлично разбирался в мире подсознательного. Ни одному мистика не удавалось лучше прозреть скрытый смысл в обыденном. Мистик видит несказанное, психопатолог – то, о чем не говорят. Это было увлекательное занятие: следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя. Он захлебывался от восторга, когда ему удавалось вытащить на свет божий еще один пример жестокости или низости, и ликовал, как инквизитор, отправивший на костер еретика, когда какая-нибудь давно позабытая история подрывала сыновний пиетет его преподобия Роберта Стрикленда. Трудлюбие его достойно изумления. Ни одна мелочь не ускользнула от него, и мы можем быть уверены, что если Чарлз Стрикленд когда-нибудь не заплатил по счету прачечной, то этот счет будет приведен *in extenso* [полностью (лат.)], а если ему случилось не отдать взятые займы полкроны, то уж ни одна деталь этого преступного правонарушения не будет упущена.

## 2

Раз так много написано о Чарлзе Стрикленде, то стоит ли еще и мне писать о нем? Памятник художнику – его творения. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: впервые я встретился с ним до того, как он стал художником, и нередко виделся с ним в Париже, где ему жилось так трудно. И все же я никогда не написал бы воспоминаний о нем, если бы случайности войны не забросили меня на Таити. Там, как известно, провел он свои последние годы, и там я познакомился с людьми, которые близко знали его. Таким образом, мне представилась возможность пролить свет на ту пору его трагической жизни, которая оставалась

сравнительно темной. Если Стрикленд, как многие считают, и вправду великий художник, то, разумеется, интересно послушать рассказы тех, кто изо дня в день встречался с ним. Чего бы мы не дали теперь за воспоминания человека, знавшего Эль Греко не хуже, чем я Чарльза Стрикленда?

Впрочем, я не уверен, что все эти оговорки так уж нужны. Не помню, какой мудрец советовал людям во имя душевного равновесия дважды в день проделывать то, что им неприятно; лично я в точности выполняю это предписание, ибо каждый день встаю и каждый день ложусь в постель. Но будучи по натуре склонным к аскетизму, я еженедельно изнуряю свою плоть еще более жестоким способом, а именно: читаю литературное приложение к «Таймсу».

Поистине это душеспасительная епитимья – размышлять об огромном количестве книг, вышедших в свет, о сладостных надеждах, которые возлагают на них авторы, и о судьбе, ожидающей эти книги. Много ли шансов у отдельной книги пробить себе дорогу в этой сутолоке? А если ей даже сужден успех, то ведь ненадолго. Один бог знает, какое страдание перенес автор, какой горький опыт остался у него за плечами, какие сердечные боли терзали его, и все лишь для того, чтобы его книга часок-другой поразвлекла случайного читателя или помогла ему разогнать дорожную скуку. А ведь если судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, авторами вложено в них немало мыслей, а некоторые – плод неустанного труда целой жизни. Из всего этого я делаю вывод, что удовлетворения писатель должен искать только в самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь равнодушным ко всему привходящему – к хуле и хвале, к успеху и провалу.

Но вместе с войной пришло новое отношение к вещам. Молодежь поклонилась богам, в наше время неведомым, и теперь уже ясно видно направление, по которому двинутся те, кто будет жить после нас. Младшее поколение, неугомонное и сознающее свою силу, уже не стучится в двери – оно ворвалось и уселось на наши места. Воздух сотрясается от их крика. Старцы подражают повадкам молодежи и силятся уверить себя, что их время еще не прошло. Они шумят заодно с юнцами, но из их ртов вырывается не воинственный клич, а жалобный писк; они похожи на старых распутниц, с помощью румян и пудры старающихся вернуть себе былую юность. Более мудрые с достоинством идут своей дорогой. В их сдержанной улыбке проглядывает снисходительная насмешка. Они помнят, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли предшествующее, уже усталое поколение, и предвидят, что нынешним бойким факельщикам вскоре тоже придется уступить свое место. Последнего слова не существует. Новый завет был уже стар, когда Ниневия возносила к небу свое величие. Смелые слова, которые кажутся столь новыми тому, кто их произносит, были, и почти с теми же интонациями, произнесены уже сотни раз. Маятник раскачивается взад и вперед. Движение неизменно совершается по кругу.

Бывает, что человек зажился и из времени, в котором ему принадлежало определенное место, попал в чужое время, – тогда это одна из забавнейших сцен в человеческой комедии. Ну кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А он был знаменитый поэт в свое время, и человечество признавало его гений с единодушием, в наше более сложное время уже немыслимым. Он был выучеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы рифмованными двестишиями. Но разразилась французская революция, затем наполеоновские войны, и поэты запели новые песни. Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными двестишиями. Надо думать, он читал стихи юнцов, учинивших такой переполох в мире, и считал их вздором. Конечно, многое в этих стихах и было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, несколько поэм Колриджа и, еще в большей степени, Шелли открыли человечеству ранее неведомые и обширные области духа. Мистер Крабб был глуп, как баран: он продолжал писать нравоучительные истории рифмованными двестишиями. Я прочитываю иногда то, что пишут молодые. Может быть, более пылкий Ките и более возвышенный Шелли уже выпустили в свет новые творения, которые навек запомнит благодарное человечество. Не знаю. Я восхищаюсь тщательностью, с которой они отделяют то, что выходит у них из-под пера, – юность эта так закончена, что говорить об обещаниях,

конечно, уже не приходится. Я дивлюсь совершенству их стиля; но все их словесные богатства (сразу видно, что в детстве они заглядывали в «Сокровищницу» Роджета) ничего не говорят мне. На мой взгляд, они знают слишком много и чувствуют слишком поверхностно; я не терплю сердечности, с которой они похлопывают меня по спине, и взволнованности, с которой бросаются мне на грудь. Их страсть кажется мне худосочной, их мечты – скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду писать нравоучительные истории рифмованными двустушиями. Но я был бы трижды дурак, если б делал это не только для собственного развлечения.

### 3

Но все это между прочим.

Я был очень молод, когда написал свою первую книгу.

По счастливой случайности она привлекла к себе внимание, и различные люди стали искать знакомства со мной.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературном мире Лондона той поры, когда я, робкий и взволнованный, ступил в его пределы. Давно уже я не бывал в Лондоне, и если романы точно описывают характерные его черты, то, значит, многое там изменилось. И кварталы, в которых главным образом протекает литературная жизнь, теперь иные. Гемпстед, Нотинг-Хилл-Гейт, Гайстрит и Кенсингтон уступили место Челси и Блумсбери. В те времена писатель моложе сорока лет привлекал к себе внимание, теперь писатели старше двадцати пяти лет – комические фигуры. Тогда мы конфузились своих чувств, и страх показаться смешным смягчал проявления самонадеянности. Не думаю, чтобы тогдашняя богема очень уж заботилась о строгости нравов, но я не помню и такой неразборчивости, какая, видимо, процветает теперь. Мы не считали себя лицемерами, если покров молчания прикрывал наши безрассудства. Называть вещи своими именами у нас не считалось обязательным, да и женщины в ту пору еще не научились самостоятельности.

Я жил неподалеку от вокзала Виктория и совершал долгие путешествия в омнибусе, отправляясь в гости к радушным литераторам. Прежде чем набраться храбрости и дернуть звонок, я долго шагал взад и вперед по улице и потом, замирая от страха, входил в душную комнату, битком набитую народом. Меня представляли то одной, то другой знаменитости, и я краснел до корней волос, выслушивая добрые слова о своей книге. Я чувствовал, что от меня ждут остроумных реплик, но таковые приходили мне в голову лишь по окончании вечера. Чтобы скрыть свою робость, я усердно передавал соседям чай и плохо нарезанные бутерброды. Мне хотелось остаться незамеченным, чтобы спокойно наблюдать за этими великими людьми, спокойно слушать их умные речи.

Мне помнятся дородные чопорные дамы, носатые, с жадными глазами, на которых платья выглядели как доспехи, и субтильные, похожие на мышек, старые девы с кротким голоском и колючим взглядом. Я точно зачарованный смотрел, с каким упорством они, не сняв перчаток, поглощают поджаренный хлеб и потом небрежно вытирают пальцы о стулья, воображая, что никто этого не замечает. Для мебели это, конечно, было плохо, но хозяйка, надо думать, отыгрывалась на стульях своих друзей, когда, в свою очередь, бывала у них в гостях. Некоторые из этих дам одевались по моде и уверяли, что не желают ходить чучелами только оттого, что пишут романы: если у тебя изящная фигура, то старайся это подчеркнуть, а красивые туфли на маленькой ножке не помешали еще ни одному издателю купить у тебя твою «продукцию». Другие, напротив, считая такую точку зрения легкомысленной, наряжались в платья фабричного производства и нацепляли на себя поистине варварские украшения. Мужчины, как правило, имели вполне корректный вид. Они хотели выглядеть светскими людьми и при случае вправду могли сойти за старших конторщиков солидной фирмы. Вид у них всегда был утомленный. Я никогда прежде не видел писателей, и они казались мне несколько странными и даже какими-то ненастоящими.

Их разговор я находил блистательным и с удивлением слушал, как они поносили лю-

бого собрата по перу, едва только он повернется к ним спиной. Преимущество людей артистического склада заключается в том, что друзья дают им повод для насмешек не только своим внешним видом или характером, но и своими трудами. Я был убежден, что никогда не научусь выражать свои мысли так изящно и легко, как они. В те времена разговор считали искусством; меткий, находчивый ответ ценился выше подспудного глубокомыслия, и эпиграмма, еще не ставшая механическим приспособлением для переплавки глупости в остроумие, оживляла салонную болтовню. К сожалению, я не могу припомнить ничего из этих словесных фейерверков. Но мне думается, что беседы становились всего оживленнее, когда они касались чисто коммерческой стороны нашей профессии. Обсудив достоинства новой книги, мы, естественно, начинали говорить о том, сколько экземпляров ее распродано, какой аванс получен автором и сколько еще дохода она ему принесет. Далее речь неизменно заходила об издателях, щедрость одного противопоставлялась мелочности другого; мы обсуждали, с каким из них лучше иметь дело: с тем, кто не скупится на гонорары, или с тем, кто умеет «протолкнуть» любую книгу. Одни умели рекламировать автора, другим это не удавалось. У одного издателя был нюх на современность, другого отличала старомодность. Затем разговор перескакивал на комиссионеров, на заказы, которые они добывали для нас, на редакторов газет, на характер нужных им статей, на то, сколько платят за тысячу слов и как платят – аккуратно или задерживают гонорар. Мне все это казалось весьма романтичным. Я чувствовал себя членом некоего тайного братства.

#### 4

Никто не принимал во мне тогда больше участия, чем Роза Уотерфорд. Мужской ум соединялся в ней с женским своенравием, а романы, выходившие из-под ее пера, смущали читателей своей оригинальностью. У нее-то я и встретил жену Чарлза Стрикленда. Мисс Уотерфорд устраивала званый чай, и в ее комнатке набилось полным-полно народу. Все оживленно болтали, и я, молча сидевший в сторонке, чувствовал себя прескверно, но был слишком робок, чтобы присоединиться к той или иной группе гостей, казалось, всецело поглощенных собственными делами. Мисс Уотерфорд, как гостеприимная хозяйка, видя мое замешательство, поспешила мне на помощь.

– Вам надо поговорить с миссис Стрикленд, – сказала она. – Она в восторге от вашей книги.

– Чем занимается миссис Стрикленд? – осведомился я.

Я отдавал себе отчет в своем невежестве, и если миссис Стрикленд была известной писательницей, то мне следовало узнать это прежде, чем вступить с нею в разговор.

Роза Уотерфорд потупилась, чтобы придать больший эффект своим словам.

– Она угощает гостей завтраками. Если вы будете иметь успех, приглашение вам обеспечено.

Роза Уотерфорд была циником. Жизнь представлялась ей оказией для писания романов, а люди – необходимым сырьем. Время от времени она отбирала из этого сырья тех, кто восхищался ее талантом, зазывала их к себе и принимала весьма радушно. Беззлобно подсмеиваясь над их слабостью к знаменитым людям, она тем не менее умело разыгрывала перед ними роль прославленной писательницы.

Представленный миссис Стрикленд, я минут десять беседовал с нею с глазу на глаз. Я не заметил в ней ничего примечательного, разве что приятный голос. Она жила в Вестминстере, и окна ее квартиры выходили на недостроенную церковь; я жил в тех же краях, и это обстоятельство заставило нас почувствовать взаимное расположение. Универсальный магазин Армии и Флота служит связующим звеном для всех, кто живет между Темзой и Сент-Джеймским парком. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и несколькими днями позднее я получил приглашение к завтраку.

Я редко получал приглашения и потому принял его с удовольствием. Когда я пришел с небольшим опозданием, так как из страха явиться слишком рано три раза обошел кругом

церкви, общество было уже в полном сборе: мисс Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Туайнинг и Джордж Род. Словом, одни писатели. Стоял погожий весенний день, и настроение у собравшихся было отличное. Разговоры шли обо всем на свете. На мисс Уотерфорд, разрывавшейся между эстетическими представлениями ее юности (строгое зеленое платье, нарциссы в руках) и ветреностью зрелых лет (высокие каблуки и парижские туалеты), была новая шляпа. Это придавало ее речам необыкновенную резвость. Никогда еще она так зло не отзывалась о наших общих друзьях. Миссис Джей, убежденная, что непристойность – душа остроумия, полупшепотом отпускала остроты, способные вогнать в краску даже белоснежную скатерть. Ричард Туайнинг все время нес какую-то чепуху, а Джордж Род в горделивом сознании, что ему нет надобности щеголять своим остроумием, уже вошедшим в поговорку, открывал рот только затем, чтобы положить в него лакомый кусочек. Миссис Стрикленд говорила немного, но у нее был бесценный дар поддерживать общую беседу: чуть наступала пауза, она весьма кстати вставляла какое-нибудь замечание, и разговор снова оживлялся. Высокая, полная, но не толстая, лет так тридцати семи, она не отличалась красотой, но смугловатое лицо ее было приятно, главным образом из-за добрых карих глаз. Темные волосы она тщательно причесывала, не злоупотребляла косметикой и по сравнению с двумя другими дамами выглядела простой и безыскусной.

Убранство ее столовой было очень строго, в соответствии с хорошим вкусом того времени. Высокая белая панель по стенам и на зеленых обоях гравюры Уистлера в изящных черных рамках. Зеленые портьеры с узором «павлиний глаз» строгими прямыми линиями ниспадали на зеленый же ковер, по углам которого среди пышных деревьев резвились блеклые кролики – несомненное влияние картин Уильяма Морриса. Каминная доска была уставлена синим голландским фарфором. В те времена в Лондоне нашлось бы не меньше пятисот столовых, убранных в том же стиле – скромно, артистично и уныло.

Я вышел оттуда вместе с мисс Уотерфорд. Чудесный день и ее новая шляпа определили наше решение побродить по парку.

– Что ж, мы премило провели время, – сказал я.

– А как вы находите завтрак? Я внушила ей, что если хочешь видеть у себя писателей, то надо ставить хорошее угощение.

– Мудрый совет, – отвечал я. – Но на что ей писатели?

Мисс Уотерфорд пожала плечами.

– Она их считает занимательными и не хочет отставать от моды. Она очень простодушна, бедняжка, и воображает, что все мы необыкновенные люди. Ей нравится кормить нас завтраками, а мы от этого ничего не теряем. Потому-то я и чувствую к ней симпатию.

Оглядываясь назад, я думаю, что миссис Стрикленд была еще самой безобидной из всех охотников за знаменитостями, преследующих свою добычу от изысканных высот Гемпстеда до захудалых студий на Чейн-Уок. Юность она тихо провела в провинции, и книги, присылаемые ей из столичной библиотеки, пленяли ее не только своей собственной романтикой, но и романтикой Лондона. У нее была подлинная страсть к чтению (редкая в людях, интересующихся больше авторами, чем их творениями, больше художниками, чем их картинами), она жила в воображаемом мире, пользуясь свободой, недоступной для нее в повседневности. Когда она познакомилась с писателями, ей стало казаться, что она попала на сцену, которую прежде видела только из зрительного зала. Она так их идеализировала, что ей и вправду думалось, будто, принимая их у себя или навещая их, она живет иною, более возвышенной жизнью. Правила, согласно которым они вели свою жизненную игру, ее не смущали, но она ни на мгновение не собиралась подчинить им свою собственную жизнь. Их вольные нравы, так же как необычная манера одеваться, их нелепые теории и парадоксы занимали ее, но ни в какой мере не влияли на ее убеждения.

– Скажите, а существует ли мистер Стрикленд? – поинтересовался я.

– О, конечно; он что-то делает в Сити. Кажется, биржевой маклер. Скучнейший мальчик!

– И они в хороших отношениях?

– Обожают друг друга. Вы его увидите, если она пригласит вас к обеду. Но у них редко обедают посторонние. Он человек смирный. И нисколько не интересуется литературой и искусством.

– Почему это милые женщины так часто выходят за скучных мужчин?

– Потому что умные мужчины не женятся на милых женщинах.

Я ничего не смог на это возразить и спросил, есть ли у миссис Стрикленд дети.

– Да, девочка и мальчик. Оба учатся в школе.

Тема была исчерпана, и мы заговорили о другом.

## 5

В течение лета я довольно часто виделся с миссис Стрикленд. Я посещал ее приятные интимные завтраки и куда более торжественные чаепития. Мы искренне симпатизировали друг другу. Я был очень молод, и, возможно, ей льстила мысль, будто она руководит моими первыми шагами на многотрудном поприще литературы, мне же было приятно сознавать, что есть человек, к которому я всегда могу пойти с любыми моими заботами в уверенности, что меня внимательно выслушают и дадут разумный совет. У миссис Стрикленд был дар сочувствия. Прекрасное качество, но те, кто его сознает в себе, нередко им злоупотребляют; с алчностью вампира впиваются они в беды друзей, лишь бы найти применение своему таланту. Они обрушивают на свои жертвы сочувствие, оно бьет точно нефтяной фонтан, еще хуже запутывая их дела. На иную грудь пролито уже столько слез, что я бы не решился увлажнять ее еще своими. Миссис Стрикленд не злоупотребляла этим даром, но, принимая ее сочувствие, вы явно доставляли ей радость. Когда я с юношеской непосредственностью поделился этим наблюдением с Розой Уотерфорд, она сказала:

– Молоко пить приятно, особенно с бренди, но корова жаждет от него избавиться. Разбухшее вымя – пренеприятная штука.

У Розы Уотерфорд язык был, как шпанская мушка. Никто не умел злее съязвить, но, с другой стороны, никто не мог наговорить более милых слов.

В миссис Стрикленд мне нравилась еще одна черта – ее умение элегантно жить. В доме у нее всегда было очень чисто и уютно, повсюду пестрели цветы, и кретон в гостиной, несмотря на строгий рисунок, выглядел светло и радостно. Кушанья у нее были отлично приготовлены, стол маленькой артистичной столовой – изящно сервирован, обе горничные щегольски одеты и миловидны. Сразу бросалось в глаза, что миссис Стрикленд – превосходная хозяйка. И уж, конечно, превосходная мать. Гостиную украшали фотографии ее детей. Сын Роберт, юноша лет шестнадцати, учился в Регби; на одной фотографии он был снят во фланелевом спортивном костюме, на другой – во фраке, со стоячим воротничком. У него, как и у матери, был чистый лоб и красивые задумчивые глаза. Он производил впечатление чистоплотного, здорового, вполне заурядного юноши.

– Не думаю, чтобы он был очень умен, – сказала она однажды, заметив, что я вглядываюсь в фотографию, – но зато он добрый и славный мальчик.

Дочери было четырнадцать лет. Ее волосы, темные и густые, как у матери, волнами спадали на плечи. И у нее тоже лицо было доброе, а глаза безмятежные.

– Они оба – ваш портрет, – сказал я.

– Да, они больше похожи на меня, чем на отца.

– Почему вы так и не познакомили меня с вашим мужем? – спросил я.

– Вы этого хотите?

Она улыбнулась – улыбка у нее и правда была прелестная – и слегка покраснела. Я всегда удивлялся, что женщина ее возраста так легко краснеет. Но наивность была, пожалуй, главным ее очарованием.

– Он ведь совсем чужд литературе, – сказала она. – Настоящий обыватель.

Она сказала это без тени пренебрежительности, скорее нежно, словно стараясь защитить его от нападок своих друзей.



- Он служит на бирже, типичнейший биржевой маклер. Вы с ним умрете с тоски.
- Вы тоже скучаете с ним?
- Нет, но ведь я его жена. И я очень к нему привязана.

Она улыбнулась, стараясь скрыть свое смущение, и мне показалось, что она боится, как бы я не отпустил какой-нибудь шуточки в духе Розы Уотерфорд. Она помолчала. В глазах у нее светилась нежность.

– Он не воображает себя гением и даже не очень много зарабатывает на бирже. Но он удивительно хороший и добрый человек.

– Думаю, что мне он придется по душе.

– Я приглашу вас как-нибудь отобедать с нами в семейном кругу, но если вам будет скучно, пеняйте на себя.

## 6

Обстоятельства сложились так, что, встретившись наконец с Чарлзом Стриклендом, я толком не познакомился с ним. Однажды утром мне принесли письмецо миссис Стрикленд, в котором говорилось, что сегодня вечером она ждет гостей к обеду, и так как один из ранее приглашенных не может прийти, она предлагает мне занять его место. В записке стояло:

«Считаю своим долгом предупредить вас, что скука будет отчаянная. По составу гостей это неизбежно. Но если вы все-таки придете, я буду бесконечно вам признательна. Мы улучим минутку и поболтаем с глазу на глаз».

Я решил, что добрососедские отношения велят мне явиться.

Когда миссис Стрикленд представила меня своему мужу, он довольно сухо пожал мне руку.

Живо обернувшись к нему, она шутливо заметила:

– Я пригласила его, чтобы показать, что у меня действительно есть муж. По-моему, он уже начал в этом сомневаться.

Стрикленд учтиво улыбнулся; так улыбаются в ответ на шутку, в которой нет ничего смешного, но ни слова не сказал. Новые гости отвлекли от меня внимание хозяина, и я снова был предоставлен самому себе. Когда все были уже в сборе и я занимал разговором даму, которую мне было назначено вести к столу, мне невольно подумалось, что цивилизованные люди невероятно изобретательны в способах расходовать свою краткую жизнь на докучные церемонии. Это был один из тех обедов, когда невольно дивишься: зачем хозяйка утруждает себя приемом гостей и зачем гости взяли на себя труд прийти к ней. За столом было десять человек. Они встретились равнодушно, и разойтись им предстояло со вздохом облегчения. Такой обед был отбыванием светской повинности. Стрикленды «должны» были пригласить отобедать этих людей, ничуть им не интересных. Они выполняли свой долг, а гости – свой. Почему? Чтобы избежать скуки сидеть за столом *tete-a-tete*, чтобы дать отдохнуть прислуге, потому что не было резонов отказаться или потому что хозяева «задолжали» им обед?

В столовой было довольно-таки тесно. За столом сидели известный адвокат с супругой, правительственный чиновник с супругой, сестра миссис Стрикленд с мужем, полковником Мак-Эндрю, и супруга одного члена парламента. Так как сам член парламента решил, что в этот день ему нельзя отлучиться из палаты, то на его место пригласили меня. В респектабельности этой компании было что-то невыносимое. Женщины были слишком манерны, чтобы быть хорошо одетыми, и слишком уверены в своем положении, чтобы быть занимательными. Мужчины являли собой воплощенную солидность. От них так и веяло самодовольством.

Все говорили несколько громче обычного, повинуюсь инстинктивному желанию оживить общество, и в комнате стоял шум. Но общий разговор не клеился. Каждый обращался только к своему соседу: к соседу справа – во время закуски, супа и рыбы, к соседу слева – во время жаркого, овощей и десерта. Говорили о политике и гольфе, о детях и последней премьере, о картинах, выставленных в Королевской академии, о погоде и планах на лето. Разго-

воры не умолкали ни на одно мгновение, и шум усиливался. Миссис Стрикленд имела все основания радоваться – обед удался на славу. Муж ее с достоинством играл роль хозяина. Пожалуй, он был только слишком молчалив, и под конец мне показалось, что на лицах обеих его соседок появилось выражение усталости. Видимо, он им наскучил. Раз или два тревожный взгляд миссис Стрикленд останавливался на нем.

После десерта она поднялась, и дамы гуськом последовали за нею в гостиную. Стрикленд закрыл за ними дверь и, перейдя на другой конец стола, сел между известным адвокатом и правительственным чиновником. Он налил всем по рюмке портвейна и стал угощать нас сигарами. Адвокат нашел вино превосходным, и Стрикленд сообщил, где оно куплено. Разговор завертелся вокруг вин и табака. Потом адвокат рассказал о судебном процессе, который он вел, а полковник стал распространяться об игре в поло. Мне нечего было сказать, и я сидел молча, стараясь из учтивости выказывать интерес к разговору других; никому не было до меня дела, и я стал на досуге разглядывать Стрикленда. Он оказался выше, чем я думал; почему-то я воображал, что Стрикленд – худощавый, невзрачный человек; на деле он был широкоплеч, грузен, руки и ноги у него были большие, и вечерний костюм сидел на нем мешковато. Чем-то он напоминал принарядившегося кучера. Это был мужчина лет сорока, отнюдь не красавец, но и не урод; черты лица его, довольно правильные, но странно крупные, производили невыгодное впечатление. Он был чисто выбрит, и его большое лицо казалось неприятно обнаженным. Волосы у него были рыжеватые, коротко остриженные, глаза не то серые, не то голубые. В общем, внешность самая заурядная. Я понял, почему миссис Стрикленд немного стеснялась его: не такой муж нужен женщине, стремящейся добиться положения в обществе литераторов и артистов. Он был явно лишен светского лоска, но это качество не обязательное; он даже не выделялся какими-нибудь чудачествами. Это был просто добродушный, скучный, честный, заурядный малый. Некоторые его качества, может быть, и заслуживали похвалы, но стремиться к общению с ним было невозможно. Он был равен нулю. Пусть он добропорядочный член общества, хороший муж и отец, честный мажорант, но терять на него время, право же, не стоило!

## 7

Сезон уже подходил к своему пыльному концу, и все вокруг готовились к отъезду. Миссис Стрикленд с семьей собиралась в Норфолк, там дети могли наслаждаться морем, а супруг – игрою в гольф. Мы с нею распростились, уговорившись встретиться осенью. Но накануне своего отъезда я столкнулся с нею и ее детьми в дверях магазина; она, как и я, делала последние закупки перед отъездом из Лондона и, так же, как я, чувствовала себя усталой и разгоряченной. Я предложил им пойти в парк и поесть мороженого.

Миссис Стрикленд, вероятно, была рада показать мне своих детей и с готовностью согласилась на мое предложение. Дети ее в жизни выглядели еще привлекательнее, чем на фотографиях, и она по праву гордилась ими. Я был еще молод, а потому они меня не стеснялись и болтали направо и налево. Это были удивительно милые, пышущие здоровьем юные создания. И сидеть под деревьями тоже было приятно.

Час спустя она кликнула кэб и уехала домой, а я, чтобы скоротать время, поплелся в клуб. В этот день у меня было как-то тоскливо на душе, и я ощутил даже некоторую зависть к семейному благополучию, с которым только что соприкоснулся. Все они, видимо, очень любили друг друга. Они то и дело вставляли в разговор какие-то словечки, ничего не говорившие постороннему, им одним понятные и смешившие их до упаду. Возможно, что Чарльз Стрикленд был скучным человеком, если подходить к нему с меркой, превыше всего ставящей словесный блеск, но его интеллект соответствовал среде, в которой он жил, а это уже залог не только известного успеха, но и счастья. Миссис Стрикленд была прелестная женщина и любила его. Я представил себе, как течет их жизнь, ничем не замутненная, честная, мирная и, благодаря подрастающим прелестным детям, предназначенным продолжать здоровые традиции их расы и сословия, наполненная содержанием. «Наверно, они тихо дожи-

вут до глубокой старости, – думал я, – увидят своих детей зрелыми людьми; сын их женится, как и надлежит, на хорошенькой девушке, будущей матери здоровых ребятишек; дочь выйдет замуж за красивого молодого человека, скорей всего, военного; и вот в преклонных летах, среди окружающего их благоденствия, оплаканные детьми и внуками, они отойдут в вечность, прожив счастливую и небесполезную жизнь».

Такова, вероятно, история бесчисленных супружеств, и, право же, в подобной жизни есть своя безыскусственная прелесть. Она напоминает тихий ручеек, что безмятежно струится по зеленеющим лугам и в тени густых деревьев, куда не впадет в безбрежное море; но море так спокойно, так тихо и равнодушно, что в душу внезапно закрадывается смутная печаль. Или, может, это просто странность моей натуры, сказавшаяся уже в те годы, но такая участь огромного большинства всегда казалась мне пресноватой. Я признавал ее общественную ценность, видел ее упорядоченное счастье, но жаркая кровь во мне алкала иной, мятежной доли. Столь доступные радости пугали меня. Мое сердце рвалось к более опасной жизни. Пусть встретятся на моем пути рифы и предательские мели, лишь бы не так монотонно текла жизнь, лишь бы познать радость нечаянного, непредвиденного.

## 8

Перечитав все написанное мною о Стриклендах, я вижу, что они получились у меня довольно блеклыми фигурами. Мне не удалось придать им ни одной из тех характерных черт, которые заставляют персонажей книги жить своей собственной, реальной жизнью; полагая, что это моя вина, я долго ломал себе голову, стараясь припомнить какие-нибудь особенности, могущие вдохнуть в них жизнь. Я уверен, что, обыграв какое-нибудь излюбленное словцо или странную привычку, я бы сделал своих героев куда более значительными. А так – они, точно выцветшие фигуры на шпалерах, слились с фоном, на расстоянии вовсе утратили свой облик и воспринимаются лишь как приятные для глаза мазки. Единственным моим оправданием служит то, что именно такими они мне казались. В них была расплывчатость, свойственная людям, которые, являясь частью социального организма, существуют лишь в нем и благодаря ему. Эти люди напоминают клетки в тканях нашего тела, необходимые, но, куда они здоровы, не замечаемые нами Стрикленды были обычной буржуазной семьей. Милая, гостеприимная жена, с безобидным пристрастием к второразрядным литературным львам; довольно скучный муж, честно выполняющий свои обязанности на том самом месте, на какое его поставил господь бог; миловидные, здоровые дети. Трудно встретить более заурядное сочетание. В них не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание любопытного.

Вспоминая все, что случилось в дальнейшем, я спрашиваю себя: может, я просто дурак, если не разглядел в Чарлзе Стрикленде ничего, что отличало бы его от простого обывателя? Возможно! Думается, что за годы, отделяющие то время от нынешнего, я хорошо узнал людей, но даже если бы весь мой опыт был при мне тогда, когда я впервые встретил Стриклендов, я уверен, что отнесся бы к ним точно так же. С одной только разницей – уразумев, что человек полон неожиданностей, я не был бы так потрясен сообщением, которое услышал по осени, вернувшись в Лондон.

На следующий же день после моего возвращения я столкнулся на Джермин-стрит с Розой Уотерфорд.

– Вид у вас весьма оживленный, – заметил я. – В чем дело?

Она улыбнулась, и в глазах ее мелькнуло злорадство. Причину его я понял немедленно: она прознала о скандальной истории, случившейся с кем-нибудь из ее друзей, и все чувства этой литературной дамы пришли в волнение.

– Вы ведь знакомы с Чарлзом Стриклендом?

Не только ее лицо, вся ее фигура выражала полную боевую готовность. Я кивнул и подумал, что бедняга, наверно, попал под омнибус или же проигрался на бирже.

– Ужасная история! Он бросил жену!

Мисс Уотерфорд, конечно, чувствовала, что тротуар на Джермин-стрит не место для дальнейшего развития этого разговора, и, как натура артистическая, ошеломила меня только самим фактом, заявив, что никаких подробностей она не знает. Я, правда, усомнился, чтобы такая мелочь, как городская сутолока, могла помешать ей, но она стояла на своем.

– Говорят вам, я ничего не знаю, – отвечала она на все мои взволнованные расспросы и, слегка передернув плечами, добавила: – Думаю, что какая-нибудь смазливая кельнерша оставила свою службу в кафе.

Она очаровательно улыбнулась и, пояснив, что ее ждет зубной врач, удалилась, бойко стуча каблучками.

Я был скорее заинтригован, чем огорчен. В ту пору мой непосредственный житейский опыт был очень невелик, и меня потрясло, что вот среди моих знакомых случилось нечто такое, о чем я прежде только читал в романах. Позднее я привык к подобным событиям в окружавшей меня среде, но тогда все это сильно меня смутило. Стрикленду было не менее сорока лет, и я не понимал, как это человеку столь почтенного возраста вздумалось пуститься в любовные авантюры. В своем юношеском высокомерии я полагал, что после тридцати пяти лет уже не влюбляются. Ко всему эта новость ставила и меня самого в неудобное положение. Я еще из деревни написал миссис Стрикленд, что скоро возвращаюсь в Лондон и тотчас же приду к ней на чашку чаю, если, конечно, она не сочтет это нежелательным. Я обещал прийти как раз сегодня, но ответа от нее не получил. Хочет она меня видеть или не хочет? Возможно, что среди таких волнений она попросту забыла о моем письме и разумнее воздержаться от визита. С другой стороны, может быть, она хочет сохранить всю историю в тайне, и я совершу бестактность, дав ей понять, что это странное известие уже дошло до моих ушей. Я боялся оскорбить чувства милейшей женщины и в равной мере боялся показаться навязчивым. Ясно, что она очень страдает, стоит ли смотреть на чужое горе, если ты бессилен ему помочь? И все-таки в глубине души, хоть я и стыдился своего любопытства, мне хотелось посмотреть, как она справляется со свалившейся на нее бедой. Одним словом, я находился в полной растерянности.

Затем я сообразил, что могу явиться как ни в чем не бывало и осведомиться через горничную, желает ли миссис Стрикленд меня видеть. Это даст ей возможность мне отказать. Все же я был вне себя от смущения, произнося перед горничной заранее приготовленную фразу, и, дожидаясь ответа в темной передней, напрягал все свои силы, чтобы попросту не удрать. Горничная воротилась. В своем возбуждении я почему-то решил, что ей все известно о несчастье, постигшем этот дом.

– Не угодно ли вам пройти вот сюда, сэр, – сказала она.

Я последовал за нею в гостиную. Занавеси на окнах были почти задернуты, и миссис Стрикленд сидела спиной к свету. Ее шурин, полковник Мак-Эндрю, стоял перед камином, греясь у незажженного огня. Мне было мучительно неловко. Я вообразил, что мое появление застало их врасплох, и миссис Стрикленд велела просить меня только потому, что позабыла написать мне отказ. Полковник, решил я, возмущен моим вторжением.

– Я не был уверен, что вы пожелаете меня принять, – заговорил я с наигранной неприужденностью.

– Разумеется, пожелаю. Энн сейчас подаст нам чай...

Даже в полутемной комнате я разглядел, что глаза миссис Стрикленд опухли от слез, а лицо ее, всегда несколько бледное, было землисто-серого цвета.

– Вы ведь, кажется, знакомы с моим свояком? Помнится, вы весною встретились у меня за обедом.

Мы пожали друг другу руки. Я так растерялся, что не находил слов, но миссис Стрикленд поспешила ко мне на выручку. Она осведомилась, как я провел лето, и с ее помощью я кое-как поддерживал разговор, пока не внесли чай. Полковник спросил себе виски с содовой.

– И вам я тоже советую выпить виски, Эми, – сказал он.

– Нет, я хочу чаю.

Это был первый намек на то, что случилась какая-то неприятность. Я пропустил его мимо ушей и приложил все усилия, чтобы вовлечь миссис Стрикленд в разговор. Полковник, стоявший у камина, не проронил ни слова. В душе я то и дело спрашивал себя, когда мне можно будет откланяться и еще зачем, собственно, вздумалось миссис Стрикленд принимать меня? В гостиной не было цветов, и всевозможные безделушки, убранные на лето, еще не были расставлены по местам; комната эта, обычно столь уютная, выглядела такой чопорной и угрюмой, что странным образом начинало казаться, будто за стеной лежит покойник. Я допил свой чай.

– Хотите сигарету? – спросила миссис Стрикленд.

Она оглянулась, ища коробку, но ее не оказалось под рукой.

– У нас, видимо, нет сигарет!

Внезапно она разразилась слезами и выбежала из комнаты.

Я опешил. Видимо, отсутствие сигарет, которые, как правило, покупал ее муж, больно резануло ее, и новое чувство, что вот теперь некому позаботиться о доме, вызвало приступ боли. Она вдруг поняла, что прежняя ее жизнь кончилась навеки. Невозможно было дольше соблюдать светские условности.

– Я полагаю, мне лучше уйти, – сказал я полковнику и поднялся.

– Вы, верно, уже слышали, что этот негодяй бросил ее? – запальчиво крикнул он.

Я помедлил с ответом.

– Да, мне намекнули, что у них что-то неладно.

– Он сбежал. Отправился в Париж с какой-то особой. И оставил Эми без гроша.

– Как это печально, – сказал я, не зная, что, собственно, сказать.

Полковник залпом выпил свое виски. Это был высокий, тощий мужчина лет пятидесяти, седоволосый, с обвисшими усами. Глаза у него были голубые, губы дряблые. Из прошлой встречи в памяти у меня осталось только его глупое лицо, и еще я запомнил, с какой гордостью он рассказывал, что до отставки, лет десять подряд, играл в поло не менее трех раз в неделю.

– По-моему, миссис Стрикленд сейчас совсем не до меня, – заметил я. – Передайте ей, что я очень скорблю за нее и почту за счастье быть ей чем-нибудь полезным.

Он меня даже не слушал.

– Не знаю, что с нею будет. Кроме всего прочего, у нее дети. Чем они будут жить? Воздухом? Семнадцать лет!

– Семнадцать лет? Что вы хотите этим сказать?

– Они были женаты семнадцать лет, – отрезал он. – Мне Стрикленд никогда не нравился. Конечно, он был моим свояком, и я ничего не мог сказать. Вы считаете его джентльменом? Не надо было ей выходить за него замуж.

– Так, значит, это окончательный разрыв?

– Ей остается только одно – развестись с ним. Я ей так и сказал: немедленно подавайте прошение о разводе, Эми. Это ваша обязанность перед собой и перед детьми тоже. Пусть он лучше мне на глаза не попадается. Я задам ему такую взбучку, что он своих не узнает.

Я невольно подумал, что полковнику Мак-Эндрю будет не так-то легко это сделать – Стрикленд был дюжий малый, – но промолчал. Как это печально, что оскорбленной добродетели не дано карать грешников. Я вторично сделал попытку откланяться, как вдруг вошла миссис Стрикленд. Она успела вытереть слезы и припудрить нос.

– Мне очень жаль, что я не совладала с собой, – сказала она. – Хорошо, что вы еще не ушли.

Она села. Я окончательно растерялся. Мне было неловко заговорить о предмете, вовсе меня не касающемся. В ту пору я еще не знал, что главный недостаток женщин – страсть обсуждать свои личные дела со всяким, кто согласен слушать. Миссис Стрикленд, казалось, сделала над собой усилие.

– Что, об этом уже много говорят? – спросила она.

Я был озадачен ее уверенностью в том, что мне известно несчастье, постигшее ее се-

мью.

– Я только что вернулся. Я не видел никого, кроме Розы Уотерфорд.

Миссис Стрикленд стиснула руки.

– Скажите мне все, что вы от нее слышали.

Я промолчал, но она настаивала:

– Я хочу знать во что бы то ни стало.

– Вы же знаете, что она охотница посудачить. Веры ее словам давать нельзя. Она сказала, что ваш муж оставил вас.

– И это все?

Я не считал возможным повторить прощальную реплику Розы Уотерфорд насчет девушки из кафе и соврал.

– Она не говорила, что он уехал с какой-то женщиной?

– Нет.

– Это все, что я Хотела узнать.

Я стал в тупик, но все-таки сообразил, что теперь мне можно уйти. Прощаясь, я заверил миссис Стрикленд, что всегда буду к ее услугам. Она тускло улыбнулась.

– Благодарю вас. Но вряд ли найдется человек, который мог бы что-нибудь для меня сделать.

Слишком застенчивый, чтобы высказать ей свое соболезнование, я повернулся к полковнику, намереваясь проститься с ним. Он не взял моей руки.

– Я тоже ухожу. Если вы идете по Виктория-стрит, то нам по пути.

– Отлично, – сказал я. – Идемте!

## 9

– Скверная история, – проговорил он, едва мы вышли на улицу.

Я понял, что он пошел со мной, чтобы еще раз обсудить то, что уже часами обсуждал со свояченицей.

– Понимаете ли, мы даже не знаем, кто эта женщина, – сказал полковник. – Знаем только, что мерзавец отправился в Париж.

– Мне всегда казалось, что они примерные супруги.

– Так оно и было. Как раз перед вашим приходом Эми говорила, что они ни разу не повздорили за все время совместной жизни. Вы знаете Эми. На свете нет женщины лучше.

После столь откровенных признаний я считал возможным задать ему несколько вопросов.

– Итак, вы полагаете, что она ни о чем не подозревала?

– Ни о чем. Август месяц он провел в Норфолке с нею и с детьми. И был такой же, как всегда. Мы с женой ездили туда на несколько дней, и я играл с ним в гольф. В сентябре он вернулся в город, так как его компаньон должен был уехать в отпуск, а Эми осталась на взморье. Они сняли дом на полтора месяца, и к концу своего пребывания там она написала ему, сообщая, в какой день они приедут в Лондон. Он ответил ей из Парижа. Написал, что больше не хочет жить с нею.

– Чем же он это объяснил?

– А он, голубчик мой, ничего не объяснил. Я читал письмо. В нем и всего-то было строчек десять, не больше.

– Ничего не понимаю.

В эту минуту мы как раз переходили улицу, и оживленное движение помешало нам продолжить разговор. То, что мне рассказал полковник, звучало очень уж неправдоподобно, и я решил, что миссис Стрикленд что-то от него скрывает. Ясно, что после семнадцати лет супружества человек не оставляет жену без причин, которые должны заставить ее усомниться, так ли уж благополучна была их совместная жизнь. Полковник прервал мои размышления.

– Да и что он мог объяснить, кроме того, что удрал с какой-нибудь особой женского пола. Он, наверно, решил, что об этом она и сама может догадаться. Вот какой это тип!

– Что же собирается предпринять миссис Стрикленд?

– Прежде всего мы должны получить доказательства. Я сам поеду в Париж.

– А что с его конторой?

– О, тут он повел себя очень хитро. Он целый год подготавливал себе отступление.

– Он предупредил компаньона о своем отъезде?

– И не подумал.

Полковник Мак-Эндрю разбирался в коммерческих вопросах крайне слабо, а я и вовсе не разбирался и потому так и не понял, в каком состоянии Стрикленд оставил свои дела. Судя по словам Мак-Эндрю, покинутый компаньон должен быть вне себя от гнева и, верно, уже грозит Стрикленду судебным преследованием. Похоже, что эта история обойдется ему фунтов в пятьсот.

– Еще слава богу, что обстановка квартиры принадлежит Эми. Она-то уж ей останется.

– Вы помнили об этом, говоря, что она осталась без гроша?

– Разумеется, помнил. У нее есть сотни две или три фунтов да вот эта мебель.

– Но на что же она будет жить?

– Это уж одному богу известно!

Все было, видимо, очень не просто, а негодующий полковник еще больше сбивал меня с толку. И я очень обрадовался, когда Он, взглянув на часы на магазине Армии и Флота, вспомнил, что в клубе его ждут партнеры по карточной игре, и предоставил мне в одиночестве идти через Сент-Джеймский парк.

## 10

День или два спустя миссис Стрикленд прислала мне записку, в которой спрашивала, не могу ли я зайти к ней вечером. Я застал ее одну. Черное, монашески простое платье намекало на ее тяжелую утрату, и я в простоте душевной очень удивился, как она, с таким камнем на сердце, могла играть роль, по ее понятиям, ей подобающую.

– Вы сказали, что если я обращусь к вам с какой-нибудь просьбой, то вы не откажетесь ее исполнить, – сказала она.

– Да, конечно.

– Согласитесь вы поехать в Париж и встретиться с Чарли?

– Я?

Я был ошеломлен. Ведь я только однажды видел его. Что она намеревалась мне поручить?

– Фред собирается туда. (Фред был полковник Мак-Эндрю.) Но я уверена, что ему ехать нельзя. Он только все запутает. И я не знаю, кого мне об этом просить.

Голос ее слегка задрожал, и я почувствовал, что даже секунда колебания с моей стороны – свинство.

– Но я и двух слов не сказал с вашим мужем. Он меня не знает и скорей всего просто пошлет к черту.

– Вам от этого не будет ни жарко ни холодно, – улыбаясь, отвечала миссис Стрикленд.

– Как, по-вашему, я должен действовать?

На этот вопрос она не дала мне прямого ответа.

– По-моему, как раз хорошо, что он вас не знает. Видите ли, он никогда не любил Фреда. И всегда считал его дураком – военные ему чужды. Фред впадает в ярость, они поссорятся, и все выйдет только хуже, а не лучше. Если вы скажете, что явились к нему от моего имени, он обязан будет выслушать вас.

– Я ваш недавний знакомый, – отвечал я. – И я не понимаю, как может взяться за такое дело человек, не знающий о нем всех подробностей. Я не хочу совать свой нос в то, что меня не касается. Почему бы вам самой не поехать в Париж?

– Вы забываете, что он там не один.

Я прикусил язык. Мне уже мерещилось, как я вхожу в дом Чарлза Стрикленда и посылаю ему свою карточку. Вот он выходит ко мне, держа ее двумя пальцами:

– Чему я обязан честью?

– Я пришел поговорить с вами относительно вашей жены.

– Серьезно? Ну, когда вы станете старше, вы поймете, что не стоит соваться в чужие дела. Если вы будете так добры повернуть голову налево, вы увидите дверь. Желая всего наилучшего.

Я предвидел, что удалиться с достоинством мне будет очень нелегко, и клял себя за то, что вернулся в Лондон прежде, чем миссис Стрикленд выпуталась из всех своих затруднений. Я украдкой покосился на нее. Она была погружена в раздумье. Но секунду спустя посмотрела на меня, глубоко вздохнула и улыбнулась.

– Все это так неожиданно, – сказала она. – Мы были женаты семнадцать лет. Никогда я не думала, что Чарли может увлечься другой женщиной. Мы жили очень дружно. Правда, у меня было множество интересов, которых он не разделял со мною.

– Вы уже знаете, кто... – я не знал, как выразиться поделикатнее, – кто эта особа, с которой он уехал?

– Нет. Никто даже не догадывается. Это очень странно. Обычно в таких случаях люди встречают влюбленных в ресторане или где-нибудь еще и рассказывают об этом жене. Меня никто не предупредил, я ничего не подозревала. Его письмо было как гром среди ясного неба. Я не сомневалась, что он счастлив со мной.

Миссис Стрикленд заплакала, бедняжка, и я от души пожалел ее. Но она тут же успокоилась.

– Мне нельзя распускаться, – сказала она, вытирая глаза. – Сейчас надо решить, что именно следует предпринять.

Она начала говорить несколько вразброд то о недавнем прошлом, то об их первой встрече и женитьбе. И передо мной стала вырисовываться картина их совместной жизни. Я подумал, что мои прежние догадки не так уж неправильны. Миссис Стрикленд была дочерью чиновника в Индии. Выйдя в отставку, он остался жить там, где-то в глубине страны, но каждый август возил свою семью в Истборн для перемены обстановки; в Истборне она и встретила Стрикленда. Ей было двадцать, ему двадцать три. Они вместе играли в теннис, вместе гуляли, вместе слушали негритянских певцов; и она решила стать его женой за неделю до того, как он сделал ей предложение. Они поселились в Лондоне, сначала в предместье Гемпстед, а потом, когда материальное положение Стрикленда упрочилось, в центре города. У них родились дети, девочка и мальчик.

– Он так любил их. Даже если я ему наскучила, как у него достало сердца покинуть детей? Просто невероятно. Я и сейчас еще не верю, что все это правда.

Под конец она показала письмо, которое он прислал ей. Мне давно хотелось его прочитать, но просить об этом я не решался.

«Дорогая Эми!

Надеюсь, что дома ты все застанешь в порядке. Я передал Энн твои распоряжения; тебя и детей будет ждать обед. Я вас не встречу. Я решил жить отдельно от вас и сегодня уезжаю в Париж. Это письмо я отправлю уже по приезде. Домой не вернусь. Мое решение непоколебимо.

Всегда твой Чарлз Стрикленд».

– Он ничего не объясняет, ни о чем не сожалеет. Разве это не чудовищно?

– Весьма странное письмо в подобных обстоятельствах, – ответил я.

– Объяснение тут может быть только одно – он не в себе. Я не знаю, кто эта женщина, завладевшая им, но она сделала его другим человеком. Видимо, это уже давняя история.

– Почему вы так думаете?

– Фред это выяснил. Чарлз имел обыкновение через день играть в бридж у себя в клубе. Фред знаком с одним из членов этого клуба и однажды в разговоре назвал Чарлза заяд-



лым бриджистом. Его знакомый очень удивился. Он ни разу не видел Чарлза за карточным столом. Теперь все ясно – когда я думала, что он в клубе, он был с нею.

Я промолчал. Но затем вспомнил о детях.

– Очень трудно, вероятно, было объяснить все это Роберту.

– О, я ни ему, ни дочери ни слова не сказала. Мы ведь вернулись в город за день до начала занятий в школе. У меня хватило присутствия духа сказать им, что отец неожиданно уехал по делам.

Наверно, очень нелегко было сохранять спокойствие и безмятежность с этой внезапной тайной на сердце и еще труднее заботиться о всех мелочах, нужных детям к школе. Голос миссис Стрикленд опять задрожал.

– Что с ними станет, с моими бедняжками? Как мы будем жить?

Она старалась овладеть собою, и я заметил, что ее руки судорожно сжимаются и разжимаются. Горестное зрелище!

– Конечно, я поеду в Париж, если вы считаете, что это принесет вам пользу, но только скажите мне точно, чего я должен добиваться.

– Я хочу, чтобы он вернулся.

– Со слов полковника Мак-Эндрю я понял, что вы решили развестись с ним.

– Я никогда не дам Чарлзу развода! – воскликнула она гневно. – Так ему и передайте. Он никогда не сможет жениться на этой женщине. Я не менее упряма, чем он, и ни за что с ним не разведусь. Я обязана думать о детях.

Последнее она, наверно, добавила, чтобы объяснить свою позицию, но мне показалось, что дело здесь не столько в материнской заботе, сколько во вполне естественной ревности.

– Вы все еще любите его?

– Не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, я все забуду. Как-никак, мы были женаты семнадцать лет. Я женщина широких взглядов. Пусть делает что хочет, лишь бы я ни о чем не знала. Он должен понять, что его увлечение долго не продлится. Если он вернется, мы заживем по-прежнему, и никто ничего не узнает.

Меня слегка передернуло оттого, что миссис Стрикленд так страшилась сплетен; тогда я еще не знал, какую огромную роль в жизни женщины играет людское мнение. Страх перед ним бросает тень неискренности на самые глубокие ее чувства.

Где остановился Стрикленд, было известно. Его компаньон в неистово-зломном письме, адресованном банку, метал громы и молнии по поводу того, что Стрикленд скрывает свое местопребывание, тот ответил цинично и насмешливо и дал компаньону свой точный адрес. Жил он в гостинице.

– Я никогда об этой гостинице не слыхала, – заметила миссис Стрикленд. – Но Фред знает этот отель и говорит, что он очень дорогой.

Она густо покраснела. Я понял, что она мысленно увидела мужа, который живет в роскошных апартаментах, обедает то в одном, то в другом знаменитом ресторане, дни проводит на скачках, а вечера – в театрах.

– Так он долго не протянет, – сказала она. – Нельзя забывать, что ему уже за сорок. Будь он человек молодой, я бы все поняла, но в его годы, когда у нас почти взрослые дети, это ужасно. Он окончательно подорвет свое здоровье.

Гнев и страдание боролись в ней.

– Скажите ему, что без него наш дом – не дом. Все как будто осталось на местах – и все уже не то. Я не могу жить без него. Лучше мне покончить с собой. Напомните ему о нашем прошлом, обо всем, что мы пережили вместе. Что я скажу детям, когда они спросят о нем? В его комнате все осталось нетронутым. Она ждет его. Мы все его ждем.

И она стала внушать мне слово в слово, что я должен ему говорить. Более того, подсадила мне точнейшие ответы на любое его возражение.

– Вы обещаете сделать для меня все возможное? – жалобно добавила она. – Скажите ему, в каком я горе.

Она явно хотела, чтобы я всеми доступными мне способами разжалобил его, и плака-

ла, уже не стесняясь. Растроганный, я негодовал на холодную жестокость Стрикленда и поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть его домой. Я согласился уехать на следующий же день и пробыть в Париже столько, сколько понадобится для того, чтобы добиться толку. Затем, так как было уже поздно и оба мы устали от всех этих треволнений, я распрощался с нею.

## 11

Обдумывая по пути в Париж свою миссию, я опасался, что она обречена на неудачу. Теперь, когда вид плачущей миссис Стрикленд не смущал меня, я мог лучше собраться с мыслями. Меня озадачивали явные противоречия в поведении миссис Стрикленд. Она была очень несчастна, но, желая вызвать мое сочувствие, всячески выставляла напоказ свое несчастье. Так, например, не подлежало сомнению, что она заранее готовилась плакать, ибо под рукой у нее оказался изрядный запас носовых платков. Я восхищался ее предусмотрительностью, но, если вдуматься, эта предусмотрительность делала ее слезы менее трогательными. Я недоумевал: хочет она возвращения мужа оттого, что любит его, или оттого, что боится злословия? Я подозревал, что страдания попорченной любви сплелись в ее сердце с муками уязвленного самолюбия, и по молодости лет считал это недостойным. Я еще не знал, как противоречива человеческая натура, не знал, что самым искренним людям свойственна поза, не знал, как низок может быть благородный человек и как добр отверженный.

Но в моей поездке было нечто интригующее, и по мере приближения к Парижу я воспрянул духом. Я вдруг увидел себя со стороны и очень понравился себе в роли доверенного, который возвращает заблудшего мужа в объятия супруги, готовой все простить. Стрикленда я решил повидать не раньше следующего вечера, ибо чувствовал, что время должно быть выбрано с сугубой щепетильностью. Вывать, например, к чувствам до завтрака – пустое занятие. Собственные мои мысли в то время были постоянно заняты любовью, но семейного блаженства до чая я не мог себе представить.

У себя в гостинице я осведомился, где находится «Отель де Бельж», в котором остановился Чарлз Стрикленд. К моему удивлению, консьерж никогда не слышал о таком. Между тем со слов миссис Стрикленд я понял, что это большая, роскошная гостиница где-то возле улицы Риволи. Мы заглянули в справочник, и оказалось, что единственное заведение, так именуемое, находится на Рю де Муан. Квартал отнюдь не шикарный и даже не вполне респектабельный. Я покачал головой.

– Нет, это явно не то.

Консьерж пожал плечами. Другого отеля с таким названием в Париже нет. Мне пришлось в голову, что Стрикленд утаил свой настоящий адрес и попросту надул своего компаньона, назвав ему первый попавшийся отель. Не знаю почему, мне вдруг показалось, что это вполне в духе Стрикленда – заставить разъяренного маклера примчаться в Париж и угодить в захолустную гостиницу с весьма сомнительной репутацией. Тем не менее я решил отправиться на разведку. На следующий день, часов около шести, я взял кэб и велел кучеру ехать на Рю де Муан, но отпустил его на углу, так как хотел пешком подойти к гостинице и для начала хорошенько рассмотреть ее. На улице было полно мелких лавчонок, торгующих на потребу покупателей-бедняков, в середине ее, по левую руку от меня, находился «Отель де Бельж». Я остановился в достаточно скромной гостинице, но по сравнению с этой она могла считаться великолепной. Вывеска «Отель де Бельж» украшала высокое здание, не ремонтировавшееся уже годами и до того обшарпанное, что дома по обе его стороны казались чистыми и нарядными. Грязные окна, по-видимому, никогда не открывались. Нет, не здесь Чарлз Стрикленд и неведомая очаровательница, ради которой он позабыл долг и честь, утонули в преступной роскоши. Я был страшно зол, чувствуя, что попал в дурацкое положение, и уже совсем было собрался уходить, даже не спросив о Стрикленде. Но под конец я заставил себя переступить порог этого заведения единственно для того, чтобы сказать миссис Стрикленд, что сделал для нее все, что мог.

Вход в гостиницу был рядом с какой-то лавчонкой, дверь была открыта, и рядом с ней виднелась надпись: «Bureau au premier» [контора на втором этаже (франц.)]. Я поднялся по узкой лестнице и на площадке обнаружил нечто вроде стеклянной каморки, в которой находился стол и два стула. Снаружи стояла скамейка, на которой коридорный, по-видимому, проводил свои беспокойные ночи. Навстречу мне никто не попался, но под электрическим звонком имелась надпись: «gagson» [коридорный (франц.)]. Я нажал кнопку, и вскоре появился молодой человек с бегающими глазами и мрачной физиономией. Он был в жилетке и ковровых шлепанцах.

Не знаю почему, я спросил с самым что ни на есть небрежным видом:

– Не стоит ли здесь случайно некий мистер Стрикленд?

– Номер тридцать два. Шестой этаж, – последовал ответ.

Я так опешил, что в первую минуту не нашелся, что сказать.

– Он дома?

Портье взглянул на доску, висевшую в каморке.

– Ключа он не оставлял. Сходите наверх, посмотрите.

Я счел необходимым задать еще один вопрос:

– Madame est la? [Мадам дома? (франц.)]

– Monsieur est seul! [Мсье живет один (франц.)]

Коридорный окинул меня подозрительным взглядом, когда я и впрямь отправился наверх. На темной и душной лестнице стоял какой-то омерзительный кислый запах. На третьем этаже растрепанная женщина в капоте распахнула дверь и молча уставилась на меня. Наконец я добрался до шестого этажа и постучал в дверь под номером тридцать два. Внутри что-то грохнуло, и дверь приоткрылась. Передо мной стоял Чарльз Стрикленд. Он не сказал ни слова и явно не узнал меня.

Я назвал свое имя. И далее постарался быть грациозно-небрежным:

– Вы меня, видимо, не помните. Я имел удовольствие обедать у вас прошлым летом.

– Входите, – приветливо отвечал он. – Очень рад вас видеть. Садитесь.

Я вошел. Это была тесная комнатка, битком набитая мебелью в стиле, который французы называют стилем Луи-Филиппа. Широкая деревянная кровать, прикрытая красным стеганым одеялом, большой гардероб, круглый стол, крохотный умывальник и два стула, обитых красным репсом. Все грязное и обтрепанное. Ни малейших следов греховного великолепия, которое живописал мне полковник Мак-Эндрю. Стрикленд сбросил на пол одежду, валявшуюся на одном из стульев, и предложил мне сесть.

– Чем могу служить? – спросил он.

В этой комнатке он казался еще крупнее, чем в первый вечер нашего знакомства. Он, видимо, не брился уже несколько дней, на нем была поношенная куртка. Тогда, у себя дома, в элегантном костюме Стрикленд явно был не в своей тарелке; теперь, неопрятный и непричесанный, он, видимо, чувствовал себя превосходно. Я не знал, как он отнесется к заготовленной мною фразе.

– Я пришел по поручению вашей супруги.

– А я как раз собирался глотнуть абсента перед обедом. Пойдемте-ка вместе. Вы любите абсент?

– Более или менее.

– Тогда пошли.

Он надел котелок, очень и очень нуждавшийся в щетке.

– Мы можем и пообедать вместе. Вы ведь, собственно, должны мне обед.

– Разумеется. Вы один?

Я льстил себе, воображая, что весьма ловко задал щекотливый вопрос.

– О да! По правде говоря, я уже три дня рта не раскрывал. Французский язык мне что-то не дается.

Спускаясь с ним по лестнице, я недоумевал, что случилось с девицей из кафе. Успели они поссориться, или его увлечение уже прошло? Впрочем, последнее казалось мне сомнитель-

ным, ведь он чуть ли не целый год готовился к бегству. Дойдя до кафе на улице Клиши, мы уселись за одним из столиков, стоявших прямо на мостовой.

## 12

Улица Клиши в этот час была особенно многолюдна, и, обладая мало-мальски живым воображением, здесь едва ли не любого прохожего можно было наделить романтической биографией. По тротуару сновали клерки и продавщицы; старики, словно сошедшие со страниц Бальзака; мужчины и женщины, извлекающие свой доход из слабостей рода человеческого. Оживление и сутолока бедных кварталов Парижа волнуют кровь и подготавливают к всевозможным неожиданностям.

– Вы хорошо знаете Париж? – спросил я.

– Нет. Мы провели в Париже медовый месяц. С тех пор я здесь не бывал.

– Но как, скажите на милость, вы попали в этот отель?

– Мне его рекомендовали. Я искал что-нибудь подешевле.

Принесли абсент, и мы с подобающей важностью стали капать воду на тающий сахар.

– Думается, мне лучше сразу сказать вам, зачем я вас разыскал, – начал я не без смущения.

Его глаза блеснули.

– Я знал, что рано или поздно кто-нибудь разыщет меня. Эми прислала мне кучу писем.

– В таком случае вы отлично знаете, что я намерен вам сказать.

– Я их не читал.

Чтобы собраться с мыслями, я закурил сигарету. Как приступить к возложенной на меня миссии? Красноречивые фразы, заготовленные мною, трогательные, равно как и негодующие, здесь были неуместны. Вдруг он фыркнул.

– Чертовски трудная задача, а?

– Пожалуй.

– Ладно, выкладывайте поживее, а потом мы премило проведем вечер.

Я задумался.

– Неужели вы не понимаете, что ваша жена мучительно страдает?

– Ничего, пройдет!

Не могу описать, до чего бессердечно это было сказано. Я растерялся, но сделал все, чтобы не показать этого, и заговорил тоном моего дядюшки Генри, священника, когда тот уговаривал кого-нибудь из родственников принять участие в благотворительной подписке.

– Вы не рассердитесь, если я буду говорить откровенно?

Он улыбнулся и покачал головой.

– Чем она заслужила такое отношение?

– Ничем.

– Вы что-нибудь против нее имеете?

– Ровно ничего.

– В таком случае разве не чудовищно оставить ее после семнадцати лет брака?

– Чудовищно.

Я с удивлением взглянул на него. Столь чистосердечное признание моей правоты выбило у меня почву из-под ног. Положение мое было не только затруднительно, но и смехотворно. Я собирался увещевать и уговаривать, грозить и взывать к его сердцу, предостерегать, негодовать, язвить, убивать сарказмом. Но что, черт возьми, прикажете делать исповеднику, если грешник давно раскаялся? Опыта у меня не было ни малейшего, ибо сам я всегда упорно отрицал все обвинения, которые мне предъявлялись.

– Ну и что же дальше? – спросил Стрикленд.

Я постарался презрительно скривить губы.

– Что ж, если вы все признаете, мне, пожалуй, не стоит больше распространяться.

– Не стоит.

Мне стало очевидным, что я не слишком ловко выполнил свою миссию, и я разозлился.

– Черт подери, но нельзя же оставлять женщину без гроша.

– Почему нельзя?

– Как прикажете ей жить?

– Я содержал ее семнадцать лет. Почему бы ей для разнообразия теперь не содержать себя самой?

– Она не может.

– Пусть попытается.

Конечно, у меня нашлось бы, что на это ответить. Я мог бы заговорить об экономическом положении женщины, об обязательствах, которые мужчина, гласно и негласно, берет на себя, вступая в брак, но вдруг я понял, что в конце концов важно только одно.

– Вы больше не любите ее?

– Ни капли.

Все это были очень серьезные вопросы в человеческой жизни, но манера, с которой он отвечал, была такой задорной и наглой, что я кусал себе губы, лишь бы не расхохотаться. Я твердил себе, что его поведение отвратительно, и изо всех сил старался возгореться благородным негодованием.

– Но, черт вас возьми, вы же обязаны подумать о детях. Они вам ничего худого не сделали. И они не просили вас произвести их на свет. Если вы о них не позаботитесь, они будут выброшены на улицу.

– Они много лет прожили в холе и неге. Не все дети живут так. Кроме того, о них кто-нибудь да позаботится. Я уверен, что Мак-Эндрю станет платить за их учение.

– Но разве вы не любите их? Они такие славные. Неужели вы хотите совсем от них отказаться?

– Я любил их, когда они были маленькие, а теперь, когда они подросли, я, по правде говоря, никаких чувств к ним не питаю.

– Это бесчеловечно!

– Очень может быть.

– И вам нисколько не стыдно?

– Нет.

Я попытался изменить курс.

– Вас будут считать просто свиньей.

– Пускай!

– Неужели вам приятно, когда вас клянут на всех перекрестках?

– Мне все равно.

Его ответ звучал так презрительно, что мой вполне естественный вопрос показался мне верхом глупости. Я подумал минуту-другую.

– Не понимаю, как может человек жить спокойно, зная, что все вокруг осуждают его? Рано или поздно это начнет вас тяготить. У каждого из нас имеется совесть, и когда-нибудь она непременно проснется. К примеру, вдруг ваша жена умрет, разве вы не будете мучиться угрызениями совести?

Он молчал, и я терпеливо дожидался, пока он заговорит. Но в конце концов мне пришлось прервать молчание.

– Что вы на это скажете?

– То, что вы идиот.

– Вас ведь могут заставить содержать жену и детей, – возразил я, несколько уязвленный. – Я не сомневаюсь, что закон возьмет их под свою защиту.

– А может закон снять луну с неба? У меня ничего нет. Я приехал сюда с сотней фунтов.

Если я и раньше недоумевал, то теперь уж окончательно встал в тупик. Ведь жизнь в

«Отеле де Бельж» и вправду свидетельствовала о крайне стесненных обстоятельствах.

– А что вы будете делать, когда эти деньги выйдут?

– Как-нибудь подработаю.

Он был совершенно спокоен, и в глазах его по-прежнему мелькала насмешливая улыбка, от которой все мои речи становились дурацкими. Я замолчал, соображая, что мне еще сказать. Но на этот раз первым заговорил он.

– Почему бы Эми не выйти опять замуж? Она еще не старуха и собой недурна. Я могу рекомендовать ее как превосходную жену. Если она пожелает развестись со мной, пожалуйста, я возьму вину на себя.

Теперь пришел мой черед улыбаться. Как он ни хитер, но мне ясно, что за цель он преследует. Он скрывает, что приехал сюда с женщиной, и пускается на всевозможные уловки, чтобы замести следы. Я отвечал очень решительно.

– Ваша жена ни за что не согласится на развод. Это ее бесповоротное решение. Оставьте всякую надежду.

Он посмотрел на меня с непритворным удивлением. Улыбка сбежала с его губ, и он очень серьезно сказал:

– Да ведь мне, голубчик, все едино, что в лоб, что по лбу.

Я рассмеялся.

– Полно, не считайте нас такими уж дураками. Мы знаем, что вы уехали с некоей особой.

Он даже привскочил на месте и разразился громким хохотом. Смеялся он так заразительно, что сидевшие поблизости обернулись к нему, а потом и сами начали смеяться.

– Не вижу тут ничего смешного.

– Бедняжка Эми, – ослабился он.

Затем его лицо приняло презрительное выражение.

– Убогий народ эти женщины. Любовь! Везде любовь! Они думают, что мужчина уходит от них, только польстившись на другую. Не такой я болван, чтоб проделать все, что я проделал, ради женщины.

– Вы хотите сказать, что ушли от жены не из-за другой женщины?

– Конечно!

– Вы даете мне честное слово?

Не знаю, зачем я потребовал от него честного слова, верно, по простоте душевной.

– Честное слово.

– Тогда объясните мне, бога ради, зачем вы оставили ее?

– Я хочу заниматься живописью.

Я смотрел на него, вытаращив глаза. Я ничего не понял и на минуту подумал, что передо мной сумасшедший. Вспомните, я был очень молод, а его считал человеком уже пожилым. От удивления у меня все на свете вылетело из головы.

– Но вам уже сорок лет.

– Поэтому-то я и решил, что пора начать.

– Вы когда-нибудь занимались живописью?

– В детстве я мечтал стать художником, но отец принудил меня заниматься коммерцией, он считал, что искусством ничего не заработаешь. Я начал писать с год назад. И даже посещал вечернюю художественную школу.

– А миссис Стрикленд думала, что вы проводите это время в клубе за бриджем?

– Да.

– Почему вы не рассказали ей?

– Я предпочитал держать язык за зубами.

– И живопись вам дается?

– Еще не вполне. Но я научусь. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне нет того, что мне нужно. Посмотрим, что будет здесь.

– Неужели вы надеетесь чего-нибудь добиться, начав в этом возрасте? Люди начинают

писать лет в восемнадцать.

– Я теперь научусь быстрее, чем научился бы в восемнадцать лет.

– С чего вы взяли, что у вас есть талант?

Он ответил не сразу. Взгляд его был устремлен на снующую мимо нас толпу, но вряд ли он видел ее. То, что он ответил, собственно, не было ответом.

– Я должен писать.

– Но ведь это более чем рискованная затея!

Он посмотрел на меня. В глазах его появилось такое странное выражение, что мне стало не по себе.

– Сколько вам лет? Двадцать три?

Вопрос показался мне бестактным. Да, в моем возрасте можно было пускаться на поиски приключений; но его молодость уже отошла, он был биржевой маклер с известным положением в обществе, с женой и детьми. То, что было бы естественно для меня, – для него непозволительно. Я хотел быть беспристрастным.

– Конечно, может случиться чудо, и вы станете великим художником, но вы же должны понять, что тут один шанс против миллиона. Ведь это трагедия, если в конце концов вы убедитесь, что совершили ложный шаг.

– Я должен писать, – повторил он.

– Ну, а что, если вы навсегда останетесь третьесортным художником, стоит ли всем для этого жертвовать? Не во всяком деле важно быть первым. Можно жить припеваючи, да же если ты и посредственность. Но посредственным художником быть нельзя.

– Вы просто олух, – сказал он.

– Не знаю, почему так уж глупы очевидные истины.

– Говорят вам, я должен писать. Я ничего не могу с собой поделать. Когда человек упал в реку, неважно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет.

В голосе его слышалась подлинная страсть; вопреки моему желанию она захватила меня. Я почувствовал, что внутри его клокочет могучая сила, и мне стало казаться, что нечто жестокое и непреодолимое помимо его воли владеет им. Я ничего не понимал. Точно дьявол вселился в этого человека, дьявол, который каждую минуту мог растерзать, погубить его. А с виду Стрикленд казался таким заурядным. Я не сводил с него глаз, но это его не смущало. Интересно, за кого можно принять его, думал я, когда он вот так сидит здесь в своей старой куртке и давно не чищенном котелке; брюки на нем мешковатые, руки нечисты; лицо его, с небритой рыжей щетиной на подбородке, с маленькими глазками и большим задорным носом, грубо и неотесанно. Рот у него крупный, губы толстые и чувственные. Нет, мне не подбрать для него определения.

– Так, значит, вы не вернетесь к жене? – сказал я наконец.

– Никогда.

– Она готова все забыть и начать жизнь сначала. И никогда она ни в чем не упрекнет вас.

– Пусть убирается ко всем чертям.

– Вам все равно, если вас будут считать отъявленным мерзавцем? И все равно, если она и ваши дети вынуждены будут просить подаяния?

– Плевать мне.

Я помолчал, чтобы придать больше веса следующему моему замечанию, и сказал со всей решительностью, на которую был способен:

– Вы хам и больше ничего.

– Ну, теперь, когда вы облегчили душу, пойдете-ка обедать.

## 13

Я понимаю, что было бы достойнее пренебречь этим предложением. Наверно, мне

следовало бы выказать негодование, которое я на самом деле ощущал, и заслужить похвалу полковника Мак-Эндрю, рассказав ему о своем горделивом отказе сесть за один стол с таким человеком. Но беда в том, что страх не справиться со своей ролью никогда не позволял мне разыгрывать из себя моралиста. И на этот раз уверенность, что все мои благородные чувства для Стрикленда – что горох об стену, заставила меня держать их при себе. Только поэт или святой способен поливать асфальтовую мостовую в наивной вере, что за ней зацветут лилии и вознаградят его труды.

Я заплатил за выпитый им абсент, и мы отправились в дешевенький ресторан; там было полно народу, очень оживленно, и обед нам подали отличный. У меня был аппетит юноши, у него – человека с окостенелой совестью. Из ресторана мы пошли в кабачок выпить кофе с ликером.

Я уже сказал ему все, что мог, относительно причины моего приезда в Париж, и хотя мне казалось, что, прекратив этот разговор, я стану предателем в отношении миссис Стрикленд, но продолжать борьбу с его безразличием я был уже не в силах. Только женщина может с неослабной горячностью десять раз подряд твердить одно и то же. Я успокаивал себя мыслью, что теперь смогу получше разобраться в душевном состоянии Стрикленда. Это было куда интересней. Но сделать это было не так-то просто, ибо Стрикленд отнюдь не отличался разговорчивостью. Он с трудом выжимал из себя слова, так что, казалось, для него они не были средством общения с миром; о движениях его души оставалось догадываться по избитым фразам, вульгарным восклицаниям и отрывистым жестам. Но, хотя ничего сколько-нибудь значительного он не говорил, никто бы не посмел назвать этого человека скучным. Может быть, из-за его искренности. Он, видимо, мало интересовался Парижем, который видел впервые (его краткое пребывание здесь с женой в счет не шло), и на все новое, открывавшееся ему, смотрел без малейшего удивления. Я бывал в Париже бесчисленное множество раз и всегда заново испытывал трепет восторга. Проходя по его улицам, я чувствовал себя счастливым искателем приключений. Стрикленд оставался хладнокровным. Оглядываясь назад, я думаю, что он был слеп ко всему, кроме тревожных видений своей души.

В кабачке, где было множество проституток, произошел нелепый инцидент. Некоторые из этих девиц сидели с мужчинами, некоторые Друг с дружкой; вскоре я заметил, что одна из них смотрит на нас. Встретившись взглядом со Стриклендом, она улыбнулась. Он, по-моему, ее просто не заметил. Она поднялась и вышла из зала, но тотчас же воротилась и, проходя мимо нас, весьма учтиво попросила угостить ее чем-нибудь спиртным. Она под села к нашему столику, и я начал болтать с нею, отлично, впрочем, понимая, что она интересуется Стриклендом, а не мной. Я пояснил, что он знает по-французски лишь несколько слов. Она пыталась говорить с ним то знаками, то на ломаном французском языке; ей казалось, что так он лучше поймет ее. У нее в запасе было с десятков английских фраз. Она заставила меня перевести ему то, что умела выразить только на своем родном языке, и настойчиво потребовала, чтобы я перевел ей смысл его ответов. Он был в хорошем расположении духа, его это немножко забавляло, но, в общем, он явно оставался равнодушным.

– Вы, кажется, одержали победу, – засмеялся я.

– Польщенным себя не чувствую.

На его месте я был бы больше смущен и не так уж спокоен. У нее были смеющиеся глаза и очаровательный рот. Она была молода. Я удивлялся: чем ее пленил Стрикленд? Она не таила своих желаний, и мне пришлось перевести:

– Она хочет, чтобы вы пошли с нею.

– Я с ними не якшаюсь, – буркнул он.

Я постарался по мере сил смягчить его ответ. И так как мне казалось, что нелюбезно с его стороны отклонять такое приглашение, то я объяснил его отказ неимением денег.

– Но он мне нравится, – возразила она. – Скажите ему, что я пойду с ним задаром.

Когда я это перевел, Стрикленд нетерпеливо пожал плечами.

– Скажите, пусть убирается к черту.



Вид Стрикленда был красноречивее слов, и девушка вдруг гордо вскинула голову. Возможно, что она покраснела под своими румянами.

– Monsieur n'est pas poli [мсье неучтив (франц.)], – проговорила она, вставая, и вышла из залы.

Я даже рассердился.

– Не понимаю, зачем вам понадобилось оскорблять ее. В конце концов она отличила вас из многих.

– Меня тошнит от этих особ, – отрезал Стрикленд.

Я с любопытством посмотрел на него. Непритворное отвращение выражалось на его лице, и тем не менее это было лицо грубого, чувственного человека. Наверно, последнее и привлекло девушку.

– В Лондоне я мог иметь любую женщину, стоило мне только захотеть. Не за этим я сюда приехал.

## 14

На обратном пути в Англию я много думал о Стрикленде и честно старался упорядочить то, что мне предстояло сказать его жене. Я знал, что мой ответ не удовлетворит ее, я и сам был недоволен собою. Стрикленд меня озадачил. Я не понимал мотивов его поведения. На мой вопрос, когда у него впервые зародилась мысль стать художником, он не мог или не пожелал ответить. Сам же я тут ни до чего не мог додуматься. Правда, я пытался убедить себя, что в его неповоротливом уме мало-помалу нарастало смутное чувство возмущения, но эти домыслы разбивались о неопровержимый факт – он никогда не высказывал недовольства однообразием своей жизни. Если Стрикленду до того все опостылело, что он решил сделаться художником, лишь бы порвать с докучными узами, – это было постижимо и довольно банально; но самое слово «банальность» никак не вязалось со Стриклендом. Романтик в душе, я наконец придумал версию, которая, правда, мне самому казалась притянутой за волосы, но все же хоть что-то объясняла. В глубинах его души, говорил я себе, заложен инстинкт творчества; приглушенный житейскими обстоятельствами, он тем не менее неуклонно разрастался наподобие того, как разрастается злокачественная опухоль в живой ткани, покуда не завладел всем его существом и не принудил его к действию. Так кукушка кладет свое яйцо в гнездо другой птицы, когда же та выкормит кукушонка, он выпихивает своих сводных братьев, а под конец еще и разрушает гнездо, его приютившее.

Странно, что инстинкт творчества завладел этим скучным маклером, быть может, на погибель ему и на горе его близким; но разве не более странно то, как дух божий нисходил на людей богатых и могущественных, преследуя их с неотступным упорством, покуда они, побежденные им, не отступались от радостей жизни и женской любви во имя сурового монашества. Откровение приходит под разными личинами, и по-разному люди на него отзываются. Некоторым нужна жестокая встряска: так камень разлетается на куски от ярости потока; с другими все совершается постепенно: так вода точит камень. Стрикленда отличали прямота фанатика и свирепость апостола.

Но я хотел еще дознаться, возможно ли, чтобы страсть, которою он одержим, была оправдана его произведениями. Когда я спросил, что думали его сотоварищи по вечерней школе живописи в Лондоне о его работах, он улыбнулся:

– Они думали, что я дурачусь.

– Вы и здесь посещаете какую-нибудь студию?

– Да. Этот зануда – я имею в виду нашего маэстро – сегодня утром, как увидел мой рисунок, только брови поднял и прошествовал дальше.

Стрикленд фыркнул. Он отнюдь не был обескуражен. Мнение других его не интересовало.

Из-за этого-то я всякий раз и становился в тупик, общаясь со Стриклендом. Когда люди уверяют, будто они безразличны к тому, что о них думают, они по большей части себя

обманывают. Обычно они поступают, как им вздумается, в надежде, что никто не прознает об их чудачествах, иногда же они поступают вопреки мнению большинства, ибо их поддерживает признание близких. Право же, нетрудно пренебрегать условностями света, если это пренебрежение – условность, принятая в компании ваших приятелей. В таком случае человек проникается преувеличенным уважением к своей особе. Он удовлетворен собственной храбростью, не испытывая при этом малоприятного чувства опасности. Но жажда признания – пожалуй, самый неистребимый инстинкт цивилизованного человека. Никто так не спешит набросить на себя покров респектабельности, как непотребная женщина, преследуемая злобой оскорбленной добродетели. Я не верю людям, которые уверяют, что в грош не ставят мнения окружающих. Это пустая бравада. По сути дела, они только не страшатся упреков в мелких прегрешениях, убежденные, что никто о таковых не прознает. Но здесь передо мною был человек, которого действительно нисколько не тревожило, что о нем думают: условности не имели над ним власти. Он походил на борца, намазавшего тело жиром – никак его не ухватишь, – и это давало ему свободу, граничившую со святотатством. Помнится, я сказал ему:

– Если бы все поступали, как вы, мир не мог бы существовать.

– Чушь! Не всякий хочет поступать, как я. Большинству нравится все делать, как люди.

Я пытался съязвить:

– Вы, видимо, отрицаете максиму: «Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило».

– Первый раз в жизни слышу! Чушь какая-то.

– Между тем это сказал Кант.

– А мне что. Чушь, и ничего больше.

Ну стоило ли взывать к совести такого человека? Все равно что стараться увидеть свое изображение, не имея зеркала. Я полагаю, что совесть – это страж, в каждом отдельном человеке охраняющий правила, которые общество выработало для своей безопасности. Она – полицейский в наших сердцах, поставленный, чтобы не дать нам нарушить закон. Шпион, засевший в главной цитадели нашего «я». Человек так алчет признания, так безумно страшится, что собратья осудят его, что сам торопится открыть ворота своему злейшему врагу; и вот враг уже неотступно следит за ним, преданно отстаивая интересы своего господина, в корне пресекает малейшее поползновение человека отбиться от стада. И человек начинает верить, что благо общества выше личного блага. Узы, привязывающие человека к человечеству, – очень крепкие узы. Однажды уверовав, что есть интересы, которые выше его собственных, он становится рабом этого своего убеждения, он возводит его на престол и под конец, подобно царедворцу, раболепно склонившемуся под королевским жезлом, что опустился на его плечо, еще гордится чувствительностью своей совести. Он уже клеймит самыми жесткими словами тех, что не признают этой власти, ибо теперь, будучи членом общества, он сознает, что бессилен против них. Когда я понял, что Стрикленду и вправду безразлично отношение, которое должны возбудить в людях его поступки, я с ужасом отшатнулся от этого чудовища, утратившего человеческий облик.

На прощание он сказал мне следующее:

– Передайте Эми, чтобы она сюда не приезжала. Впрочем, я все равно съеду с квартиры, и ей не удастся меня разыскать.

– Мне лично кажется, что ей следует бога благодарить за то, что она от вас избавилась, – сказал я.

– Милый мой, я очень надеюсь, что вы ее заставите это понять. Впрочем, женщины – народ бестолковый.

## 15

В Лондоне меня ожидала записка с настойчивым требованием явиться вечером к миссис Стрикленд. У нее сидел полковник Мак-Эндрю с супругой, старшей сестрой миссис

Стрикленд. Сестры походили друг на друга, хотя у миссис Мак-Эндрю, уже изрядно по-блекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула себе в карман всю Британскую империю; вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте. Манеры у этой дамы были бойкие, а ее благовоспитанности едва-едва хватало на то, чтобы вслух не высказывать убеждения, что любой штатский – приказчик. Гвардейцев она тоже ненавидела, считая зазнайками, а об их женах, забывающих отдавать визиты, даже и говорить не желала. Платье на ней было дорогое и безвкусное.

Миссис Стрикленд явно нервничала.

– Итак, какие вести вы нам привезли? – спросила она.

– Я видел вашего мужа. Увы, он твердо решил не возвращаться. – Я помолчал. – Он намерен заниматься живописью.

– Что вы хотите этим сказать? – вне себя от удивления крикнула миссис Стрикленд.

– Неужели вы никогда не замечали этой его страсти?

– Он окончательно рехнулся! – воскликнул полковник.

Миссис Стрикленд нахмурила брови. Она рылась в своих воспоминаниях.

– Еще до того, как мы поженились, он иногда баловался красками. Но, бог мой, что это была за мазня! Мы смеялись над ним. Такие люди, как он, не созданы для искусства.

– Ах! Это же просто предлог! – вмешалась миссис Мак-Эндрю.

Миссис Стрикленд некоторое время сидела погруженная в свои мысли. Она не знала, как понять мое сообщение. В гостиной уже был наведен порядок; домовитость, видимо, возобладала в миссис Стрикленд над горем, и гостиния больше не производила унылого впечатления меблированной комнаты, ожидающей нового жильца, как в первый мой визит после катастрофы. Но, лучше узнав Стрикленда в Париже, я уже не мог представить его себе в этой обстановке. «Неужели им ни разу не бросилось в глаза, как все здесь ему не соответствует?» – думал я.

– Но если он хотел стать художником, почему он молчал? – спросила наконец миссис Стрикленд. – Кто-кто, а я бы уж сочувственно отнеслась к такому влечению.

Миссис Мак-Эндрю поджала губы. Она, вероятно, всегда порицала сестру за пристрастие к людям искусства и насмеялась над ее «культурными» друзьями.

Миссис Стрикленд продолжала:

– Ведь окажись у него хоть какой-то талант, я первая стала бы поощрять его, пошла бы на любые жертвы. Вполне понятно, что я бы предпочла быть женой художника, нежели биржевого маклера. Если бы не дети, я бы ничего не боялась и в какой-нибудь жалкой студии в Челси жила бы не менее счастливо, чем в этой квартире.

– Нет, милочка, ты выводишь меня из терпения! – воскликнула миссис Мак-Эндрю. – Не хочешь же ты сказать, что поверила этой вздорной выдумке?

– Но я уверен, что это правда, – робко вставил я.

Она взглянула на меня с добродушным презрением.

– Мужчина в сорок лет не бросает своего дела, жену и детей для того, чтобы стать художником, если тут не замешана женщина. Уж я-то знаю, что какая-нибудь особа из вашего «артистического круга» вскружила ему голову.

Бледное лицо миссис Стрикленд внезапно залилось краской:

– Какова она из себя?

Я помедлил. Это будет как взрыв бомбы.

– С ним нет женщины.

Полковник Мак-Эндрю и его жена заявили, что они в это не верят, а миссис Стрикленд вскочила с места.

– Вы хотите сказать, что ни разу не видели ее?

– Мне некого было видеть. Он там один.

– Что за вздор! – вскричала миссис Мак-Эндрю.

– Надо было мне ехать самому, – буркнул полковник. – Уж я-то бы живо о ней разуз-

нал.

– Жалею, что вы не взяли на себя труд съездить в Париж, – отвечал я не без язвительности, – вы бы живо убедились, что все ваши предположения ошибочны. Он не снимает апартаментов в шикарном отеле. Он живет в крошечной, убогой комнатухе. И ушел он из дому не затем, чтобы вести легкую жизнь. У него гроша нет за душой.

– Вы полагаете, что он совершил какой-нибудь проступок, о котором мы ничего не знаем, и скрывается от полиции?

Такое предположение заронило луч надежды в их души, но я решительно отверг его.

– Если бы это было так, зачем бы он стал давать адрес своему компаньону, – колко возразил я. – Так или иначе, а в одном я уверен: никакой женщины с ним нет. Он не влюблен и ни о чем подобном даже не помышляет.

Настало молчание. Они обдумывали мои слова.

– Что ж, – прервала наконец молчание миссис Мак-Эндрю, – если то, что вы говорите, правда, дело обстоит еще не так скверно, как я думала.

Миссис Стрикленд взглянула на нее, но ничего не сказала. Она была очень бледна, и ее тонкие брови хмурились. Выражения ее лица я не понимал. Миссис Мак-Эндрю продолжала:

– Значит, это просто каприз, который скоро пройдет.

– Вы должны поехать к нему, Эми, – заявил полковник. – Почему бы вам не провести год в Париже? За детьми мы присмотрим. Я уверен, ему просто наскучила однообразная жизнь, он быстро одумается, с удовольствием вернется в Лондон, и все это будет предано забвению.

– Я бы не поехала, – вмешалась миссис Мак-Эндрю. – Лучше предоставить ему полную свободу действий. Он вернется с поджатым хвостом и заживет прежней жизнью. – Миссис Мак-Эндрю холодно взглянула на сестру. – Может быть, ты не всегда умно вела себя с ним, Эми. Мужчины – фокусники, и с ними надо уметь обходиться.

Миссис Мак-Эндрю, как и большинство женщин, считала, что мужчина – негодяй, если он оставляет преданную и любящую жену, но что вина за его поступок все же падает на нее. *Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas* [сердце рассуждает по-своему, рассудком этого не понять (франц.)].

Миссис Стрикленд медленно переводила взгляд с одного на другого.

– Он не вернется, – объявила она.

– Ах, милочка, вспомни, что тебе о нем сказали. Он привык к комфорту и к тому, чтобы за ним ухаживали. Неужели ты думаешь, что он долго будет довольствоваться убогой комнатухой в захудалом отеле? Вдобавок у него нет денег. Он должен вернуться.

– Покуда я считала, что он сбежал с какой-то женщиной, у меня еще оставалась надежда. Я была уверена, что долго это не продлится. Она бы смертельно надоела ему через три месяца. Но если он уехал не из-за женщины, всему конец.

– Ну, это уж что-то слишком тонко, – заметил полковник, вкладывая в последнее слово все свое презрение к столь штатским понятиям. – Он, конечно, вернется, и Дороти совершенно права, от этой эскапады его не убудет.

– Но я не хочу, чтобы он вернулся, – сказала миссис Стрикленд.

– Эми!

Приступ холодной злобы нашел на миссис Стрикленд. Она мертвенно побледнела и заговорила быстро, с придыханием:

– Я могла бы простить, если бы он вдруг отчаянно влюбился в какую-то женщину и бежал с нею. Это было бы естественно. Я бы его не винила. Я считала бы, что его заставили бежать. Мужчины слабы, а женщины назойливы. Но это – это совсем другое. Я его ненавижу. И уж теперь никогда не прощу.

Полковник Мак-Эндрю и его супруга принялись наперебой уговаривать ее. Они были потрясены. Уверяли, что она сумасшедшая, отказывались понимать ее. Миссис Стрикленд в отчаянии обратилась ко мне:

– Вы-то хоть меня понимаете?

– Не совсем. Вы хотите сказать, что могли бы простить его, если бы он оставил вас ради другой женщины, но не ради отвлеченной идеи? Видимо, вы полагаете, что в первом случае у вас есть возможность бороться, а во втором вы бессильны?

Миссис Стрикленд бросила на меня не слишком дружелюбный взгляд, но ничего не ответила. Возможно, что я попал в точку. Затем она продолжала сиплым, дрожащим голосом:

– Я никогда не думала, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу его. Я ведь тешила себя мыслью, что сколько бы это ни продлилось, в конце концов он все же ко мне вернется. Я знала, что на смертном одре он пошлет за мной, и была готова к этому; я бы ходила за ним как мать, и в последнюю минуту сказала бы, что я всегда любила его и все-все ему простила.

Я часто с недоумением замечал в женщинах страсть эффектно вести себя у смертного одра тех, кого они любят. Временами мне даже казалось, что они досадуют на долговечность близких, не позволяющую им разыграть красивую сцену.

– Но теперь – теперь все кончено. Для меня он чужой человек. Пусть умирает с голоду, одинокий, заброшенный, без единого друга, – меня это не касается. Надеюсь, что его постигнет какая-нибудь страшная болезнь. Для меня он больше не существует.

Тут я счел уместным передать ей слова Стрикленда.

– Если вы желаете развестись с ним, он готов сделать все, что для этого потребуется.

– Зачем мне давать ему свободу?

– По-моему, он к ней и не стремится. Просто он думает, что вам так будет удобнее.

Миссис Стрикленд нетерпеливо пожала плечами. Я был несколько разочарован. В ту пору я предполагал в людях больше цельности, и кровожадные инстинкты этого прелестного создания меня опечалили. Я не понимал, сколь различны свойства, составляющие человеческий характер. Теперь-то я знаю, что мелочность и широта, злоба и милосердие, ненависть и любовь легко уживаются в душе человека.

«Сумею ли я найти слова, которые смягчили бы горькое чувство унижения, терзающее миссис Стрикленд?» – думал я и решил попытаться.

– Мне временами кажется, что ваш муж не вполне отвечает за свои поступки. По-моему, он уже не тот человек. Он одержим страстью, которая помыкает им. Безраздельно предавшийся ей, он беспомощен, как муха в паутине. Его точно околдовали. Тут поневоле вспомнишь загадочные рассказы о том, как второе «я» вступает в человека и вытесняет первое. Душа – непостоянная жительница тела и способна на таинственные превращения. В старину сказали бы, что в Чарлза Стрикленда вселился дьявол.

Миссис Мак-Эндрю разгладила ладонью платье на коленях, золотые браслеты скользнули вниз по ее руке.

– Все это, по-моему, пустые измышления, – заметила она кислым тоном. – Я не отрицаю, что Эми чересчур полагалась на своего мужа. Будь она меньше занята собственными делами, она бы уже сообразила, что происходит. Я уверена, что Алек не мог бы годами носиться с каким-нибудь замыслом втайне от меня.

Полковник уставился в пространство с видом самого добродетельного человека на свете.

– Но Чарлз Стрикленд все равно бессердечное животное.

Миссис Мак-Эндрю бросила на меня строгий взгляд.

– Я могу вам точно сказать, почему он оставил жену: из эгоизма, и только из эгоизма.

– Это, конечно, самое простое объяснение, – ответил я, про себя подумав, что оно ничего не объясняет. Потом я поднялся, сославшись на усталость, откланялся, и миссис Стрикленд не сделала попытки задержать меня.

Дальнейшие события показали, что миссис Стрикленд – женщина с характером. Она скрывала свои мучения, так как сумела понять, что людям докучают вечные рассказы о несчастьях, и вида страданий они тоже стараются избегать. Где бы она ни появлялась – а друзья из сочувствия наперебой приглашали ее, – она неизменно сохраняла полное достоинство. Одевалась она элегантно, но просто; была весела, но держалась скромно и предпочитала слушать о чужих горестях, чем распространяться о своих. О муже она всегда говорила с жалостью. Ее отношение к нему на первых порах меня удивляло. Однажды она сказала мне:

– Вы, безусловно, заблуждаетесь, я слышала из достоверных источников, что Чарлз уехал из Англии не один.

– В таком случае он положительно гений по части заметания следов.

Она отвела глаза и слегка покраснела:

– Во всяком случае, я хотела вас попросить, если кто-нибудь скажет, что он скрылся с женщиной, пожалуйста, не опровергайте этого.

– Хорошо, не стану.

Она небрежно перевела разговор на другое. Вскоре я узнал, что среди друзей миссис Стрикленд распространился своеобразный вариант этой истории. Стрикленд будто бы влюбился во французскую танцовщицу, впервые увиденную им на сцене театра Эмпайр, и последовал за нею в Париж. Откуда возник подобный слух, я так и не доискался, но он вызывал сочувствие к миссис Стрикленд и укреплял ее положение в обществе. А это было бесполезно для профессии, которую она намеревалась приобрести. Полковник Мак-Эндрю отнюдь не преувеличивал, говоря, что она осталась без гроша за душой, ей необходимо было начать зарабатывать себе на жизнь, и чем скорее, тем лучше. Она решила извлечь пользу из своих обширных знакомств с писателями и взялась за изучение стенографии и машинописи. Ее образованность заставляла предположить, что она будет превосходной машинисткой, а ее семейная драма сделала эти попытки стать самостоятельной очень симпатичными. Друзья обещали снабжать ее работой и рекомендовать своим знакомым.

Мак-Эндрю, люди бездетные и с достатком, взяли на себя попечение о детях, так что миссис Стрикленд приходилось содержать только себя. Она выехала из своей квартиры и продала мебель. Обосновавшись в Вестминстере, в двух небольших комнатах, миссис Стрикленд начала жизнь заново. Она была так усердна, что не оставалось никаких сомнений в успехе ее предприятия.

## 17

Лет пять спустя после вышеописанных событий я решил пожить некоторое время в Париже. Лондон мне приелся. Каждый день делать одно и то же – утомительнейшее занятие. Мои друзья размеренно шли по своему жизненному пути; они уже ничем не могли удивить меня; при встрече я заранее знал, что и как они скажут, даже на их любовных делах лежала печать докучливой обыденности. Мы уподобились трамвайным вагонам, бегущим по рельсам от одной конечной станции до другой; можно было уже почти точно высчитать, сколько пассажиров эти вагоны перевезут. Жизнь текла слишком безмятежно. И меня обуяла паника. Я отказался от квартиры, распродал свои скромные пожитки и решил все начать сызнова.

Перед отъездом я зашел к миссис Стрикленд. Я не видел ее довольно долгое время и отметил, что она переменилась: она не только постарела и похудела, не только новые морщинки избороздили ее лицо, мне показалось, что и характер у нее изменился. Она преуспела в своем начинании и теперь держала контору на Чансери-Лейн; сама миссис Стрикленд почти не печатала на машинке, а только проверяла работу четырех служащих у нее девушек. Стремясь придать своей продукции известное изящество, она обильно пользовалась синими и красными чернилами; копии она обертывала в плотную муаровую бумагу нежнейших оттенков и действительно заслужила известность изяществом и аккуратностью работы. Она усиленно зарабатывала деньги. Однако не могла отрешиться от представления, что зараба-

тывать себе на жизнь не вполне пристойное занятие, и потому нет-нет да и напоминала собеседнику, что по рождению она леди. В разговоре миссис Стрикленд так и сыпала именами своих знакомых, преимущественно громкими и доказывавшими, что она оставалась на той же ступени социальной лестницы. Она немножко конфузилась своей отваги и деловой предприимчивости, но была в восторге оттого, что завтра ей предстояло обедать в обществе известного адвоката, живущего в Южном Кенсингтоне. С удовольствием рассказывая, что сын ее учится в Кембридже, она не забывала, правда слегка иронически, упоминать о бесконечных приглашениях на танцы, которые получала ее дочь, недавно начавшая выезжать. Я совершил бестактность, спросив:

– Она тоже вступит в ваше дело?

– О нет! Я этого не допущу, – отвечала миссис Стрикленд. – Она очень мила и, я уверена, сделает хорошую партию.

– Это будет для вас большой поддержкой.

– Многие считают, что ей следует идти на сцену, но я, конечно, на это не соглашусь. Я знакома со всеми нашими лучшими драматургами и могла бы хоть завтра достать для нее прекрасную роль, но я не хочу, чтобы она вращалась в смешанном обществе.

Такая высокомерная разборчивость несколько смутила меня.

– Слышали вы что-нибудь о вашем муже?

– Нет. Ничего. Он, по-видимому, умер.

– А если я вдруг встречу с ним в Париже? Сообщить вам о нем?

Она на минуту задумалась.

– Если он очень нуждается, я могу немножко помочь ему. Я вам пришлю небольшую сумму денег, и вы будете постепенно ему их выплачивать.

– Вы очень великодушны, – сказал я.

Но я знал, что не добросердечие подвигнуло ее на это. Неправда, что страдания облагораживают характер, иногда это удается счастьем, но страдания в большинстве случаев делают человека мелочным и мстительным.

## 18

Вышло так, что я встретился со Стриклендом, не пробыв в Париже и двух недель.

Я быстро нашел себе небольшую квартирку на пятом этаже на Рю де Дам и за две сотни франков купил подержанную мебель. Консьержка должна была варить мне по утрам кофе и убирать комнаты. Обосновавшись, я тотчас же отправился к своему приятелю Дирку Стреву.

Дирк Стрев был из тех людей, о которых в зависимости от характера одни говорят пренебрежительно усмехаясь, другие – недоуменно пожимая плечами. Природа создала его шутком. Он был художник, но очень плохой; мы познакомились в Риме, и я хорошо помнил его картины. Казалось, он влюблен в банальность. С душой, трепещущей любовью к искусству, он писал римлян, расположившихся отдохнуть на лестнице площади Испании, причем их слишком очевидная живописность нимало его не обескураживала; в результате мастерская Стрева была сплошь увешана холстами, с которых на нас смотрели усатые, большеглазые крестьяне в остро конечных шляпах, мальчишки в красочных лохмотьях и женщины в пышных юбках. Они либо отдыхали на паперти, либо прохлаждались среди кипарисов под безоблачным небом; иногда предавались любовным утехам возле фонтана времен Возрождения, а не то брели по полям Кампаньи подле запряженной волами повозки. Все они были тщательно выписаны и не менее тщательно раскрашены. Фотография не могла бы быть точнее. Один из художников на вилле Медичи окрестил Дирка: *Le maitre de la boite a chocolats* [специалист по разрисовке шоколадных коробок (франц.)]. Глядя на его картины, можно было подумать, что Моне, Манэ и прочих импрессионистов вообще не существовало.

– Конечно, я не великий художник, – говаривал Дирк. – Отнюдь не Микеланджело, но что-то во мне все-таки есть. Мои картины продаются. Они вносят романтику в дома самых

разных людей. Ты знаешь, ведь мои работы покупают не только в Голландии, но в Норвегии, в Швеции и в Дании. Их очень любят торговцы и богатые коммерсанты. Ты не можешь себе представить, какие зимы стоят в этих краях долгие, темные, холодные. Тамошним жителям нравится думать, что Италия похожа на мои картины. Именно такой они себе ее представляют. Такой представлялась она и мне до того, как я сюда приехал.

На самом деле это представление навек засело в нем и так его ослепило, что он уже не умел видеть правду; и вопреки жестоким фактам, перед его духовным взором вечно стояла Италия романтических разбойников и живописных руин. Он продолжал писать идеал – убогий, пошлый, затасканный, но все же идеал; и это сообщало ему своеобразное обаяние.

Для меня лично Дирк Стрев был не только объектом насмешек. Собратья художники ничуть не скрывали своего презрения к его мазне, но он зарабатывал немало денег, и они, не задумываясь, распорядились его кошельком. Дирк был щедр, и все кому не лень, смеясь над его наивным доверием к их рассказам, без зазрения совести брали у него взаймы. Он отличался редкой сердобольностью, но в его отзывчивой доброте было что-то нелепое, и потому его одолжения принимались без благодарности. Брать у него деньги было все равно что грабить ребенка, а его еще презирали за дурость. Мне кажется, что карманник, гордый ловкостью своих рук, должен досадовать на беспечную женщину, забывшую в кэбе чемоданчик со всеми своими драгоценностями. Природа напаялила на Стреву дурацкий колпак, но чувствительности его не лишила. Он корчился под градом всевозможных издевок, но, казалось, добровольно вновь и вновь подставлял себя под удары. Он страдал от непрерывных насмешек, но был слишком добродушен, чтобы озлобиться: змея жалила Дирка, а опыт ничему его не научал, и, едва излечившись от боли, он снова пригревал змею на своей груди. Жизнь его была трагедией, но написанной языком вульгарного фарса. Я не потешался над ним, и он, радуясь сострадательному слушателю, поверял мне свои бесчисленные горести. И самое печальное было то, что чем трагичнее они были по существу, тем больше вам хотелось смеяться.

Из рук вон плохой художник, он необычайно тонко чувствовал искусство, и ходить с ним по картинным галереям было подлинным наслаждением. Способность к неподдельному восторгу сочеталась в нем с критической остротой. Дирк был католик. Он умел не только ценить старых мастеров, но и с живой симпатией относиться к современным художникам. Он быстро открывал новые таланты и великодушно судил о них. Думается, я никогда не встречал человека со столь верным глазом. К тому же он был образован лучше, чем большинство художников, и не был, подобно им, полным невеждою в других искусствах; его музыкальный и литературный вкус сообщал глубину и разнообразие его суждениям о живописи. Для молодого человека, каким я был тогда, советы и объяснения Дирка Стрева поистине значили очень много.

Уехав из Рима, я стал переписываться с ним и приблизительно раз в два месяца получал от него длинные письма на своеобразном английском языке, который заставлял меня как бы снова видеть и слышать его – захлебывающегося, восторженного, оживленно жестикулирующего. Незадолго до моего приезда в Париж он женился на англичанке и теперь обосновался в студии на Монмартре. Мы не виделись с ним четыре года, и я не был знаком с его женой.

## 19

Я не известил Стреву о своем приезде, и когда он открыл дверь на мой звонок, то в первое мгновение не узнал меня. Затем издал ликующий вопль и потащил в мастерскую. Право же, приятно, когда тебя так пылко встречают!

Жена его что-то шила, сидя у печки, и поднялась мне навстречу. Дирк представил меня.

– Ты помнишь, – обратился он к ней, – я много рассказывал тебе о нем? – И ко мне: – Почему ты не написал, что приезжаешь? Давно ли ты здесь? Надолго ли? Ах, если бы ты



пришел часом раньше, мы бы вместе пообедали.

Он засыпал меня вопросами, усадил в кресло, похлопывал, точно я был подушкой, настойчиво потчевал вином, печеньем, сигарами. Он никак не мог оставить меня в покое, без конца сокрушался, что в доме нет виски, бросился варить для меня кофе, не знал, как бы еще меня приветить, весь светился радостью, хохотал и от избытка чувств отчаянно потел.

– Ты ничуть не переменялся, – сказал я, с улыбкой глядя на него.

У Дирка была все та же нелепейшая внешность. Маленький, толстый, с короткими ножками и, несмотря на свою молодость – ему было не больше тридцати лет, – уже изрядно плешивый. Лицо у него было совершенно круглое, отличавшееся яркими красками – белая кожа, румяные щеки и очень красные губы. Он постоянно носил большущие очки в золотой оправе, глаза у него были голубые и тоже круглые, а брови до того светлые, что он казался безбровым. Он напоминал жизнерадостных толстых торговцев, которых любил писать Рубенс.

Когда я сказал, что собираюсь прожить некоторое время в Париже и уже снял квартиру, он осыпал меня упреками за то, что я заранее не дал ему знать об этом. Он сам подыскал бы мне жилье, ссудил бы меня мебелью – неужто я и вправду уже потратился на покупку? – и помог бы мне с переездом. Он вполне серьезно считал недружественным поступком то, что я не воспользовался его услугами. Между тем миссис Стрев молча продолжала штопать чулки и со спокойной улыбкой прислушивалась к тому, что он говорил.

– Как видишь, я женат, – внезапно объявил Дирк, – что ты скажешь о моей жене?

Он смотрел на нее бесконечно нежным взглядом и поправлял очки, так как от пота они то и дело соскальзывали на самый кончик носа.

– Ну скажи на милость, что я могу тебе ответить? – рассмеялся я.

– Полно тебе, Дирк, – улыбаясь, вставила миссис Стрев.

– Разве она не чудо? Говорю тебе, Друг мой, не теряй времени, женись, женись как можно скорее. Я счастливейший из смертных. Посмотри на нее. Разве это не готовая картина? Шарден, а? Я видел всех мировых красавиц, но никогда не видел женщины красивее мадам Стрев.

– Если ты не утомился, Дирк, я уйду.

– Mon petit choux [крошка ты моя (франц.)], – отвечал он.

Она слегка покраснела, смущенная страстью, слышавшейся в его голосе. Из его писем я уже знал, что он без памяти влюблен в жену, а теперь и сам убедился, что он с нее глаз не сводит. Любила ли она его, об этом я судить затруднялся. Бедняга Панталоне вряд ли мог внушить пламенную любовь, но глаза ее улыбались ласково, и под ее сдержанностью, возможно, скрывалось глубокое чувство. Я не заметил в миссис Стрев пленительной красоты, которую видел его взор, опьяненный любовью, но была в ней какая-то тихая прелесть. Отлично сшитое, хотя и скромное, серое платье не скрывало удивительной стройности ее высокой фигуры. Впрочем, эта фигура, должно быть, была привлекательнее для скульптора, чем для портного. Свои пышные каштановые волосы миссис Стрев зачесывала с изящной простотой; лицо у нее было бледное, с правильными, хотя и не очень значительными чертами. В ее серых глазах светилось спокойствие. Я не назвал бы ее не только красавицей, но даже хорошенькой, и все-таки Стрев не без основания упомянул о Шардене, – она странным образом напоминала ту милую хозяйку в чепце и фартуке, которую обессмертил великий художник. Не было ничего легче, как представить себе ее хлопочущей среди горшков и кастрюль с обстоятельностью, которая сообщает нравственную значимость домоводству, более того, возводит его в ритуал. Впечатления занятой или умной женщины она не производила, но что-то в ее спокойной серьезности возбуждало мой интерес. В ее сдержанности мне мерещилась какая-то таинственность. Странно, что она вышла замуж за Дирка Стрева. И хотя она была англичанкой, я никак не мог себе представить, из какого она круга, какое воспитание получила и как жила до замужества. Она почти все время молчала, но голос ее, когда ей случалось вставить несколько слов в разговор, звучал приятно, и манеры у нее были естественные.

Я спросил Стрева, работает ли он.

– Работаю? Да я пишу лучше, чем когда-либо!

Он повел рукой в сторону неоконченной картины на мольберте.

Я невольно вздрогнул.

Дирк писал кучку итальянских крестьян в одежде жителей Кампаньи, расположившихся отдохнуть на церковной паперти.

– Ты это сейчас пишешь? – спросил я.

– Да. И модели у меня здесь не хуже, чем в Риме.

– Не правда ли, как красиво? – сказала миссис Стрев.

– Моя бедная жена воображает, что я великий художник.

За конфузливый смешок он, довольно неудачно, попытался скрыть свое удовольствие. Глаза его остановились на мольберте. Странное дело, как его критическое чутье, такое безусловное и точное в отношении других художников, удовлетворялось собственной работой, невероятно пошлой и вульгарной.

– Покажи и другие свои картины, – сказала миссис Стрев.

– Хочешь посмотреть?

Дирк Стрев, столько выстрадавший от насмешек своих собратьев, в жажде похвал и в наивном самодовольстве тут же согласился показать свои работы. Он поставил передо мной картину, на которой два курчавых итальянских мальчика играли в бабки.

– Правда, это прелесть что такое? – спросила миссис Стрев.

Он показал мне еще множество картин, и я убедился, что в Париже Дирк писал те же самые избитые, псевдоживописные сюжеты, что и в Риме. Все это было фальшиво, неискренне, дрянно, а между тем свет не знал человека честнее, искреннее, чище Дирка Стрева. Как разобратся в таком противоречии?

Не знаю, почему мне вдруг взбрело на ум спросить:

– Скажи, пожалуйста, не встречался ли тебе случайно некий Чарлз Стрикленд, художник?

– Неужели ты его знаешь? – вскричал Дирк.

– Это негодяй, – сказала миссис Стрев.

Стрев рассмеялся.

– Ma pauvre chérie! [бедняжка ты моя (франц.)] – Он подбежал и расцеловал ей обе руки. – Она его не выносит. Как это странно, что ты знаешь Стрикленда!

– Я не выношу дурных манер, – сказала его жена.

Дирк, все еще смеясь, обернулся ко мне.

– Я тебе сейчас объясню, в чем дело. Как-то я позвал его посмотреть мои работы. Он пришел, и я вытащил на свет божий все, что у меня было. – Стрев запнулся и с минуту молчал. Не знаю, зачем он начал этот рассказ, который ему было тошно довести до конца. – Он посмотрел на мои работы и ничего не сказал. Я думал, он приберегает свое суждение под конец. Потом я все-таки заметил: «Ну вот и все, больше у меня ничего нет!» А он и говорит: «Я пришел попросить у вас взаймы двадцать франков».

– И Дирк дал! – с негодованием воскликнула миссис Стрев.

– Признаться, я опешил. Да и не люблю я отказывать. Он сунул деньги в карман, кивнул мне, сказал «благодарю» и ушел.

Когда Дирк Стрев рассказывал эту историю, на его круглом глуповатом лице было написано такое бесконечное удивление, что трудно было удержаться от смеха.

– Скажи он, что мои картины плохи, я бы не обиделся, но он ничего не сказал – ни слова!

– А ты еще рассказываешь об этом, – заметила миссис Стрев.

Самое печальное, что мне больше хотелось смеяться над растерянной физиономией Дирка, чем негодовать на то, как Стрикленд обошелся с ним.

– Я надеюсь, что больше никогда его не увижу, – сказала миссис Стрев.

Стрев рассмеялся и пожал плечами. Обычное благодушие уже вернулось к нему.

– Так или иначе, а он большой художник, очень, очень большой.  
– Стрикленд? – воскликнул я – Тогда это, наверно, не тот.  
– Высокий малый с рыжей бородой. Чарлз Стрикленд. Англичанин.  
– У него не было бороды, когда я встречался с ним, но если он отрастил бороду, то, надо думать, рыжую. Мой Стрикленд начал заниматься живописью всего пять лет назад.

– Это он. Он великий художник.

– Не может быть!

– Разве я когда-нибудь ошибался? – спросил Дирк. – Говорю тебе, он гений. Я в этом не сомневаюсь. Если через сто лет кто-нибудь вспомнит о нас с тобой, то только потому, что мы знали Чарлза Стрикленда.

Я был поражен и взволнован до предела. Мне внезапно вспомнился мой последний разговор со Стриклендом.

– Где можно посмотреть его работы? Он имеет успех? Где он живет?

– Нет, успеха он не имеет. Думаю, что он не продал еще ни одной картины. О них кому ни скажи – все смеются. Но я-то знаю, что он великий художник. Ведь и над Манэ в свое время смеялись. Коро в жизни не продал ни одной из своих работ. Я не знаю адреса Стрикленда, но могу устроить тебе встречу с ним. Каждый вечер в семь часов он бывает в кафе на улице Клиши. Мы можем завтра сходить туда.

– Я не уверен, что он захочет меня видеть. Я напому ему то, о чем он старается забыть. Но все равно я пойду. А можно посмотреть его работы?

– У него – нет. Он тебе ничего не покажет. Но я знаю одного торговца, у которого есть две или три картины Стрикленда. Только ты не ходи без меня; ты ничего не поймешь. Я их сам тебе покажу.

– Дирк, ты меня выводишь из терпения! – воскликнула миссис Стрев. – Как ты можешь превозносить его картины после того, что было? – Она обернулась ко мне: – Вы знаете, когда какие-то приезжие из Голландии пришли к нам покупать картины, то Дирк стал их уговаривать лучше купить картины Стрикленда! И настоял, чтобы их принесли сюда.

– А что вы думаете об этих полотнах? – с улыбкой спросил я.

– Они ужасны.

– Ах, радость моя, ты ничего не понимаешь.

– А почему же твои голландцы так на тебя разозлились? Они решили, что ты вздумал подшутить над ними.

Дирк Стрев снял очки и тщательно протер их. От волнения его лицо сделалось еще краснее.

– Неужели, по-твоему, красота, самое драгоценное, что есть в мире, валяется, как камень на берегу, который может поднять любой прохожий? Красота – это то удивительное и недоступное, что художник в тяжких душевных муках творит из хаоса мироздания. И когда она уже создана, не всякому дано ее узнать. Чтобы постичь красоту, надо вжиться в дерзание художника. Красота – мелодия, которую он поет нам, и для того чтобы она отозвалась в нашем сердце, нужны знание, восприимчивость и фантазия.

– Почему я всегда считала твои картины прекрасными, Дирк? Они восхитили меня, едва только я увидела их.

У Дирка чуть-чуть задрожали губы.

– Ложись спать, родная моя, а я немножко провожу нашего друга и сейчас же вернусь домой.

## 20

Дирк Стрев пообещал зайти за мной на следующий день вечером, чтобы отправиться в кафе, где бывал Стрикленд. К вящему моему удивлению, это оказалось то самое кафе, в котором мы пили абсент со Стриклендом, когда я приезжал в Париж для разговора с ним. То, что он по-прежнему бывал здесь, свидетельствовало об известной верности привычке, и это

показалось мне характерным.

– Вот он, – сказал Стрев, едва только мы вошли в кафе.

Несмотря на октябрь месяц, вечер был теплый и за столиками, расставленными прямо на мостовой, сидело множество народу. Я впился взглядом в эту толпу, но не нашел Стрикленда.

– Смотри же, вон там в углу, за шахматами.

Я заметил человека, склонившегося над шахматной доской, но различил только широкую шляпу и рыжую бороду. С трудом пробравшись между столиков, мы подошли к нему.

– Стрикленд! – Он поднял глаза.

– Хэлло, толстяк! Что надо?

– Я привел старого друга, он хочет повидать вас.

Стрикленд посмотрел мне в лицо, но, видимо, не узнал меня и стал снова обдумывать ход.

– Садитесь и не шумите, – буркнул он.

Он передвинул пешку и тотчас же весь погрузился в игру. Бедняга Стрев бросил на меня огорченный взгляд, но я не позволил таким пустякам смутить себя. Я велел подать вина и стал покойно дожидаться, пока Стрикленд кончит. Я был рад случаю исподволь понаблюдать за ним. Нет, это не тот человек, которого я знал. Прежде всего косматая и нечесаная рыжая борода закрывала большую часть лица, и волосы на голове тоже были длинные; но более всего непохожим на прежнего Стрикленда его делала страшная худоба. Большой нос еще резче выдался вперед, щеки ввалились, глаза стали огромными. Запавшие виски казались ямами. Тело напоминало скелет. Сюртук, тот же, что и пять лет назад, рваный, в пятнах, донельзя изношенный, болтался на нем, как с чужого плеча. Я долго смотрел на его руки с отросшими грязными ногтями; кожа да кости, но большие и сильные, а я ведь совсем забыл, что они так красивы! Я смотрел на него, погруженного в игру, и думал о том, какая сила исходит от этого изголодавшегося человека. Я только не мог понять, почему теперь она больше бросалась в глаза.

Сделав ход, Стрикленд откинулся на стуле и вперил в пространство рассеянный взгляд. Противник – дородный бородатый француз – долго обдумывал положение, затем вдруг разразился беззлой бранью, смахнул фигуры с доски и швырнул их обратно в коробку. Изругав Стрикленда и, видимо, облегчив свою душу, он позвал кельнера, заплатил за абсент и ушел. Стрев придвинул свой стул поближе к столику.

– Ну, теперь мы можем и поговорить, – сказал он.

Глаза Стрикленда были устремлены на него с каким-то злорадным выражением. Я ясно чувствовал, что он ищет повода поиздеваться над ним, ничего не находит и потому угрюмо молчит.

– Я привел старого друга повидаться с вами, – с сияющим лицом повторил Стрев.

Стрикленд, наверно, с минуту задумчиво смотрел на меня. Я молчал.

– В жизни его не видел, – объявил он наконец.

Не знаю, зачем он это сказал, от меня все равно не укрылся огонек в его глазах, – он, несомненно, узнал меня. Но теперь я не так легко конфузился, как несколько лет назад.

– Я на днях говорил с вашей женой и уверен, что вам интересно будет узнать о ней столь свежие новости. – В ответ послышался короткий смешок. Глаза Стрикленда блеснули.

– Мы тогда славно провели вечер, – сказал он. – Сколько лет назад это было?

– Пять.

Он спросил еще абсенту. Стрев начал многословно объяснять, как мы с ним встретились и как в разговоре случайно выяснилось, что мы оба знаем Стрикленда. Не знаю, слушал ли его Стрикленд. Раза два он задумчиво взглянул на меня, но большей частью был погружен в собственные мысли, и, конечно, без болтовни Стрева мне было бы нелегко поддерживать разговор. Минут через двадцать голландец поглядел на часы и объявил, что ему пора. Он спросил, пойду ли я с ним. Мне подумалось, что наедине я кое-что вытяну из Стрикленда, и я решил остаться.

После ухода толстяка я сказал:

- Дирк Стрев считает вас великим художником.
- А почему, черт возьми, это должно интересовать меня?
- Вы позволите мне посмотреть ваши картины?
- Это еще зачем?
- Возможно, что мне захочется приобрести одну из них.
- Возможно, что мне не захочется ее продать.
- Надо думать, вы хорошо зарабатываете живописью? – с улыбкой спросил я.

Он фыркнул.

- Вы это заметили по моему виду?
- У вас вид вконец изголодавшегося человека.
- Так оно и есть.
- Тогда пойдете обедать.
- Почему вы мне это предлагаете?
- Во всяком случае, не из жалости, – холодно отвечал я. – Ей-богу, мне наплевать, умрете вы с голоду или не умрете.

Глаза его снова зажглись.

- В таком случае пошли. – Он поднялся с места. – Неплохая штука – хороший обед.

## 21

Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке «сен-галмье» и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор.

– Есть что-нибудь интересное в газете? – спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда.

В его тоне мне послышалось легкое раздражение.

- Я люблю читать фельетоны о театре, – отвечал я, складывая газету.
- Я с удовольствием пообедал, – заметил он.
- А не выпить ли нам здесь же кофе?
- Можно.

Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.

– Что вы делали все эти годы? – спросил он наконец.

Что мог я рассказать о себе? Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я, со своей стороны, остерегался спрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки – слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувствен-

ный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.

Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стрикленд привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа; это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые «пропащие» кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что его лохмотья отпугивали туристов и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось, он достал работу – переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, а однажды, во время забастовки, работал маляром.

Однако он не забросил своего искусства, только перестал посещать студии и работал в одиночку. Деньги на холст и краски у него всегда находились, а больше ему ничего не было нужно. Насколько я понял, работал он очень трудно и, не желая ни от кого принимать помощи, тратил уйму времени на разрешение технических проблем, разработанных еще предшествующими поколениями. Он стремился к чему-то, к чему именно, я не знал, да навряд ли знал и он сам, и я опять еще яснее почувствовал, что передо мною одержимый. Право же, он производил впечатление человека не совсем нормального. Мне даже почудилось, что он не хочет показать мне свои картины, потому что они ему самому не интересны. Он жил в мечте, и реальность для него цены не имела. Должно быть, работая во всю свою могучую силу, он забывал обо всем на свете, кроме стремления воссоздать то, что стояло перед его внутренним взором, а затем, покончив даже не с картиной (мне почему-то казалось, что он редко завершал работу), но со сжигавшей его страстью, утрачивал к ней всякий интерес. Никогда не был он удовлетворен тем, что сделал; вышедшее из-под его кисти всегда казалось ему бледным и незначительным в сравнении с тем, что денно и ночно виделось его духовному взору.

– Почему вы не выставляете своих картин? – спросил я. – Неужто вам не хочется узнать, что думают о них люди?

– Я не любопытен.

Неописуемое презрение вложил он в эти слова.

– Разве вы не мечтаете о славе? Вряд ли хоть один художник остался к ней равнодушен.

– Ребячество! Как можно заботиться о мнении толпы, если в грош не ставишь мнение одного человека.

Я рассмеялся:

– Не все способны так рассуждать!

– Кто делает славу? Критики, писатели, биржевые маклеры, женщины.

– А, должно быть, приятно сознавать, что люди, которых ты и в глаза не видел, волнуются и трепещут, глядя на создание твоих рук! Власть – кто ее не любит? А есть ли власть прельстительнее той, что заставляет сердца людей биться в страхе или сострадании?

– Мелодрама.

– Но ведь и вам не все равно, пишете вы хорошо или плохо?

– Все равно. Мне важно только писать то, что я вижу.

– А я, например, сомневаюсь, мог ли бы я работать на необитаемом острове в уверенности, что никто, кроме меня, не увидит того, что я сделал.

Стрикленд долго молчал, но в глазах его светился странный огонек, словно они видели нечто, преисполнявшее восторгом его душу.

– Я иногда вижу остров, затерянный в бескрайнем морском просторе; там бы я мог

мирно жить в укромной долине, среди неведомых мне деревьев. И там, мне думается, я бы нашел все, что ищу.

Он говорил не совсем так. Прилагательные подменял жестами и запинался. Я своими словами передал то, что он, как мне казалось, хотел выразить.

– Оглядываясь на эти последние годы, вы полагаете, что игра стоила свеч?

Он взглянул на меня, не понимая, что я имею в виду. Я пояснил:

– Вы оставили уютный дом и жизнь такую, какую принято считать счастливой. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто. Если бы жизнь можно было повернуть вспять, сделали бы вы то же самое?

– Конечно.

– А знаете, что вы даже не спросили меня о своей жене и детях? Неужели вы никогда о них не думаете?

– Нет.

– Честное слово, я бы предпочел, чтобы вы отвечали мне не так односложно. Но иногда-то ведь вы чувствуете угрызения совести за горе, которое причинили им?

Стрикленд широко улыбнулся и покачал головой.

– Мне кажется, что временами вы все же должны вспоминать о прошлом. Не о том, что было семь или восемь лет назад, а о далеком прошлом, когда вы впервые встретились с вашей женой, полюбили ее, женились. Неужто вы не вспоминаете радость, с которой вы впервые заключили ее в объятия?

– Я не думаю о прошлом. Значение имеет только вечное сегодня.

С минуту я раздумывал. Ответ был темен, и все же мне показалось, что я смутно прозреваю его смысл.

– Вы счастливы? – спросил я.

– Да.

Я молчал и задумчиво смотрел на него. Он выдержал мой взгляд, но потом сардонический огонек зажегся у него в глазах.

– Плохо мое дело, вы, кажется, осуждаете меня?

– Ерунда, – отрезал я, – нельзя осуждать боа-констриктора: напротив, его психика несомненно возбуждает интерес.

– Значит, вы интересуетесь мною чисто профессионально?

– Да, чисто профессионально.

– Что ж, вам и нельзя меня осуждать. Сами не бог весть что!

– Может быть, потому-то вы и чувствуете себя со мной непринужденно, – отпарировал я.

Он сухо улыбнулся, но ничего не сказал. Жаль, что я не умею описать его улыбку. Ее нельзя было назвать приятной, но она озарила его лицо, придала ему иное выражение, не хмурое, как обычно, а лукаво-злорадное. Это была неторопливая улыбка, начинавшаяся, а, может быть, и кончавшаяся, в уголках глаз; очень чувственная, не жестокая, но и не добрая, а какая-то нечеловеческая, словно это ухмылялся сатир. Эта улыбка и заставила меня спросить:

– И вы ни разу не были влюблены здесь в Париже?

– У меня не было времени на такую чепуху. Жизнь – короткая штука, и на искусство и на любовь ее не хватит.

– Вы не похожи на анахорета.

– Все это мне противно.

– Плохо придуман человек.

– Почему вы смеетесь надо мной?

– Потому что я вам не верю.

– В таком случае вы осел.

Я молчал, испытующе глядя на него.

– Какой вам смысл меня дурачить? – сказал я наконец.

– Не понимаю.

Я улыбнулся.

– Сейчас объясню. Вот вы месяцами ни о чем таком не думаете и убеждаете себя, что с этим покончено раз и навсегда. Вы наслаждаетесь свободой и уверены, что теперь ваша душа принадлежит только вам. Вам кажется, что головой вы касаетесь звезд. А затем вы вдруг чувствуете, что больше вам не выдержать такой жизни, и замечаете, что ноги ваши все время топтались в грязи. И вас уже тянет вывалиться в ней. Вы встречаете женщину вульгарную, низкопробную, полуживотное, в которой воплощен весь ужас пола, и бросаетесь на нее, как дикий зверь. Вы упиваетесь ею, покуда ярость не ослепит вас.

Он смотрел на меня, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Я не опускал глаз под его взглядом и говорил очень медленно.

– И вот еще что, как это ни странно, но когда все пройдет, вы вдруг чувствуете себя необычайно чистым, имматериальным. Вы как бестелесный дух, и кажется, вот-вот коснетесь красоты, словно красота осязаема. Вам чудится, что вы слились с ветерком, с деревьями, на которых набухли почки, с радужными водами реки. Вы как бог. А можете вы объяснить – почему?

Он не сводил с меня глаз, покуда я не кончил, и тогда отвернулся. Странное выражение застыло на его лице. «Такое лицо, – подумалось мне, – должно быть у человека, умершего под пытками». Стрикленд молчал. Я понял, что наша беседа окончена.

## 22

Обосновавшись в Париже, я начал писать пьесу. Жизнь я вел очень размеренную, по утрам работал, а днем бродил в Люксембургском саду или же шатался по улицам. Долгие часы я проводил в Лувре, приветливейшей из всех галерей на свете и всегда влекущей к раздумью, или же торчал у букинистов на набережных, перелистывая старые книги, которые не думал покупать. Я прочитывал страничку то тут, то там, затем шел дальше и таким образом просмотрел множество книг, с которыми мне и не хотелось знакомиться подробнее. По вечерам я навещал друзей. Частенько заходил к Стревам и, случалось, делил с ними их скромный ужин. Дирк Стрев похвалялся своим искусством готовить итальянские блюда, и надо сознаться, что его spaghetti [макароны (итал.)] значительно превосходили его картины. Поистине то было королевское пиршество, когда в огромной миске он вносил макароны, щедро пропитанные томатом, и мы ели их с чудесным домашним хлебом, запивая красным вином. Я ближе узнал Бланш Стрев, и, может быть, потому, что я англичанин, а она редко встречалась со своими соотечественниками, ее, видимо, всегда радовал мой приход. Она была приветлива, проста в обращении, хотя по большей части молчалива, и, не знаю почему, мне казалось, что на сердце у нее какая-то тайна. Впрочем, может быть, это была всего лишь врожденная сдержанность, подчеркнутая болтливой откровенностью мужа. Дирк ни о чем не умел молчать. Самые интимные вопросы он обсуждал без малейшего стеснения. Жена его конфузилась, но только раз я заметил, что она вышла из себя, когда он пожелал во что бы то ни стало сообщить мне, что принял слабительное, и пустился в длинный и весьма натуралистический рассказ. Абсолютная серьезность, с которой он повествовал о своей беде, заставила меня покатываться со смеху, а миссис Стрев окончательно смешалась.

– Не понимаю, что за охота строить из себя дурачка! – воскликнула она.

Когда он увидел, что она сердится, его круглые глаза стали еще круглее, а брови взметнулись.

– Душенька моя, ты недовольна? Никогда больше не стану принимать слабительного. Это из-за разлития желчи. Сидячий образ жизни. Надо больше двигаться. Подумать только, что три дня у меня не было...

– Бога ради, придержи свой язык, – перебила она мужа со слезами досады на глазах.

Лицо его вытянулось, губы надулись, как у наказанного ребенка. Он бросил на меня умоляющий взгляд, взывая о помощи, но я, не в силах совладать с собой, корчился от смеха.



Однажды мы зашли к торговцу картинами, в лавке которого, по словам Стрева, находились две или три вещи Стрикленда, но хозяин сообщил нам, что Стрикленд на днях забрал их. Почему – неизвестно.

– По правде сказать, я не очень-то огорчаюсь. Я взял их только из любезности, мсье Стрев, и, конечно, пообещал продать, если удастся, хотя, ей-богу... – он пожал плечами, – я, конечно, стараюсь поддерживать молодых художников, но тут *vouons* [право же (франц.)], мсье Стрев, вы сами знаете, таланта ни на грош.

– Даю вам честное слово, нет в наши дни более даровитого художника. Помяните мое слово, вы упускаете выгодное дело. Придет время, когда эти картины будут стоить дороже всех, что имеются у вас в лавке. Вспомните Моне, которому не удавалось сбыть свои вещи за сотню франков. А сколько они стоят теперь?

– Правильно, но десятки художников не хуже Моне не могли сбыть свои картины, которые и теперь ничего не стоят. Что тут можно знать? Разве успех дается по заслугам? Вздор. *Du reste* [к тому же (франц.)], надо еще доказать, что этот ваш приятель достоин успеха. Кроме вас, мсье Стрев, никто этого не считает.

– А как вы в таком случае определяете, кто его достоин? – спросил Дирк, красный от гнева.

– Только одним способом – по успеху.

– Филистер! – крикнул Дирк.

– А вы вспомните великих художников прошлого – Рафаэля, Микеланджело, Энгра, Делакруа – все они имели успех.

– Пойдем, – оборотился ко мне Стрев, – или я убью этого человека.

## 23

Я встречал Стрикленда довольно часто и время от времени даже играл с ним в шахматы. Он был человек очень неровного характера. То молча сидел в углу, рассеянный и никого не замечающий, то вдруг, придя в хорошее расположение духа, начинал говорить, как всегда отрывисто и косноязычно. Я ни разу не слышал от него ничего особенно умного, но его жестокый сарказм порою был занимателен; и говорил Стрикленд только то, что думал. Ему ничего не стоило больно уязвить человека, и когда на него обижались, он только веселился. Дирку Стреву, например, он наносил обиды столь горькие, что тот убегал, клянясь никогда больше не встречаться с ним. Но могучая натура Стрикленда неодолимо влекла к себе толстяка голландца, и он возвращался, виляя хвостом, точно провинившийся пес, хотя отлично знал, что его снова встретят пинком, которого он так боялся.

Не знаю почему, Стрикленд охотно водился со мной. Отношения у нас сложились своеобразные. Однажды он попросил меня дать ему взаймы пятьдесят франков.

– И не подумаю, – отвечал я.

– Почему?

– А с какой радости я стану ссужать вас деньгами?

– Мне сейчас очень туго приходится.

– Не интересуюсь.

– Не интересуетесь, если я сдохну с голода?

– Мне-то что до этого? – в свою очередь спросил я.

Минуту-другую он смотрел на меня, теребя свою косматую бороду. Я улыбался.

– Что вас смешит, хотел бы я знать? – глаза его гневно блеснули.

– Неужели вы так наивны? Вы ведь никаких обязательств не признаете, следовательно, и вам никто ничем не обязан.

– А каково вам будет, если я сейчас пойду и повешусь, потому что мне нечем заплатить за комнату и меня выгонят на улицу?

– Мне наплевать, что с вами будет.

Он фыркнул.

– Хвастовство! Сделай я это, и вас совесть загрызет.

– Попробуйте, тогда увидим, – отвечал я.

Улыбка промелькнула у него в глазах, и он молча допил свой абсент.

– Не сыграть ли нам в шахматы? – предложил я.

– Пожалуй.

Когда мы расставили фигуры, он с довольным видом оглядел доску.

– Отрадно видеть, что твои солдаты готовы к бою.

– Вы вправду вообразили, что я дам вам денег? – спросил я.

– А почему бы вам и не дать?

– Вы меня удивляете и разочаровываете.

– Чем?

– Оказывается, в глубине души вы сентиментальны. Я бы предпочел, чтобы вы не взывали так наивно к моим чувствам.

– Я презирал бы вас, если бы вы растрогались, – отвечал он.

– Так-то оно лучше, – рассмеялся я.

Мы сделали первые ходы и оба углубились в игру. А когда кончили, я сказал:

– Вот что я вам предлагаю, если у вас дела так плохи, покажите мне ваши картины. Возможно, какая-нибудь из них мне понравится, и я ее куплю.

– Идите к черту, – отрезал он.

Он встал и уже шагнул было к двери. Я его остановил ехидным замечанием:

– Вы забыли заплатить за абсент!

Он обругал меня, швырнул на стол монету и ушел.

После этого я несколько дней его не видел. Но однажды вечером, когда я сидел в кафе и читал газету, он вошел и уселся рядом со мной.

– Как видно, вы все же не повесились, – заметил я.

– Нет, я получил заказ. За двести франков пишу портрет старого жестянщика [эта картина ранее принадлежала богатому фабриканту в Милле, бежавшему при приближении немцев; теперь она находится в Национальной галерее в Стокгольме; шведы – мастера ловить рыбу в мутной воде (прим.авт.)].

– Как это вам удалось?

– Меня рекомендовала булочница, у которой я покупаю хлеб. Он ей сказал, что ищет, кто бы мог написать его портрет. Пришлось дать ей двадцать франков за комиссию.

– А каков он собой?

– Великолепен. Красная рожа, жирная, как баранья нога, и на правой щеке громадная волосатая бородавка.

Стрикленд был в отличном расположении духа и, когда к нам подсел Дирк Стрев, со свирепым добродушием обрушился на беднягу. С ловкостью, которой я даже не предполагал в нем, он отыскивал наиболее уязвимые места злополучного голландца. На сей раз Стрикленд донимал его не рапирой сарказма, но дубиной брани. Это была атака настолько неспровоцированная, что Стрев, застигнутый врасплох, оказался полностью беззащитным и походил на испугнутую овцу, бессмысленно тыкающуюся из стороны в сторону. Он был так поражен и озадачен, что в конце концов слезы потекли у него из глаз. Но самое печальное, что любой свидетель этой безобразной сцены, при всей ненависти к Стрикленду, не мог бы удержаться от смеха. Дирк Стрев принадлежал к тем несчастным, чьи самые глубокие чувства поневоле смешат вас.

И все же приятнейшее мое воспоминание о той парижской зиме – Дирк Стрев. Его скромный домашний очаг был проникнут очарованием. Вид этой уютной четы радовал душу, а наивная любовь Дирка к жене так и светилась заботливой нежностью. Бестолковая искренность его страсти невольно вызывала симпатию. Я понимал, какие чувства она должна была питать к нему, и радовался, видя ее теплую привязанность. Если у нее есть чувство юмора, думал я, она забавляется его преклонением, тем, что он вознес ее так высоко, но ведь смеясь она не может и не быть польщена и растрогана. Дирк – однолюб, и даже когда она

постареет, утратит приятную округлость линий и миловидность, для него она все равно будет самой молодой и прекрасной на свете. Образ жизни этой четы отличался успокоительной размеренностью. Кроме мастерской, в их квартирке была только спальня и крохотная кухонька. Миссис Стрев собственноручно делала всю домашнюю работу; покуда Дирк писал плохие картины, она ходила на рынок, стряпала, шила – словом, хлопотала, как муравей, а вечером, снова с шитьем в руках, сидела в мастерской и слушала, как Дирк играет на рояле, хотя он любил серьезную музыку, вероятно, недоступную ее пониманию. Он играл со вкусом, но вкладывал в игру слишком много чувства, в игре звучала вся его честная, сентиментальная, любвеобильная душа.

Их жизнь была своего рода идиллией, но подлинно красивой идиллией. Комичность, печать которой ложилась решительно на все вокруг Дирка Стрева, вносила в нее своеобразную нотку, некий диссонанс, делавший ее, однако, более современной и человеческой; подобно грубой шутке, вкрапленной в серьезную сцену, она только еще горше делала горечь, неизбежно заложенную в красоте.

## 24

Незадолго до рождества Дирк Стрев пришел просить меня встретить праздник вместе с ними. Сочельник неизменно вызывал в нем прилив сентиментальности, и он жаждал провести его среди друзей и со всеми подобающими церемониями. Оба мы не видели Стрикленда уже около месяца: я – потому, что занимался друзьями, приехавшими на некоторое время в Париж, Стрев – потому, что разобиделся сильнее, чем обычно, и дал себе наконец слово никогда больше не искать его общества. Стрикленд – ужасный человек, и он отныне знать его не желает. Однако наступающие праздники вновь преисполнили его добрых чувств, и он содрогнулся при мысли, что Стрикленд проведет рождество в полном одиночестве. Приписывая ему свои чувства, он не мог вынести, чтобы в день, когда друзья собираются за праздничным столом, бедняга пребывал наедине со своими мрачными мыслями. Дирк устроил елку в своей мастерской, и я подозревал, что самые неподходящие подарки для каждого из нас уже висят на ее разукрашенных ветвях. В глубине души он все-таки боялся встречи со Стриклендом, сознавая, что унижительно так легко прощать жестокую обиду, и потому непременно хотел, чтобы я был свидетелем сцены примирения.

Мы вместе отправились на улицу Клиши, но Стрикленда в кафе не оказалось. Сидеть на улице было холодно, и мы облюбовали себе кожаный диван в зале, не уstraшившись духоты и воздуха, сизого от сигарного дыма. Стрикленд не появлялся, но вскоре мы заметили художника-француза, с которым он иногда играл в шахматы. Я его окликнул, и он подсел к нашему столику. Стрев спросил, давно ли он видел Стрикленда.

– Стрикленд болен, – отвечал художник, – разве вы не знали?

– И серьезно?

– Очень, насколько мне известно.

Стрев побелел.

– Почему он мне не написал? Какой я дурак, что поссорился с ним. Надо сейчас же к нему пойти. За ним, вероятно, и присмотреть некому. Где он живет?

– Понятия не имею, – отвечал француз.

Оказалось, что ни один из нас не знает, как найти Стрикленда. Дирк был в отчаянии.

– Он может умереть, и ни одна живая душа об этом не узнает! Ужас! Даже подумать страшно! Мы обязаны немедленно разыскать его.

Я пытался втолковать Стреву, что наугад гоняться за человеком по Парижу – бессмыслица. Сначала надо составить план действий.

– Отлично! А он, может быть, лежит при смерти, и, когда мы его разыщем, будет уже поздно.

– Да замолчи ты, дай подумать! – прикрикнул я на него.

Мне был известен только один адрес – «Отель де Бельж», но Стрикленд давно оттуда

выехал, и вряд ли там даже помнят его. А если еще принять во внимание его навязчивую идею скрывать свое местожительство, то не остается уже почти никакой надежды, что он сообщил портье свой адрес. Вдобавок это было пять с лишним лет назад. Но наверняка он жил где-то поблизости, раз продолжал ходить в то же кафе, что и в бытность свою постояльцем «Отель де Бельж».

И вдруг я вспомнил, что заказ на портрет достался ему через булочницу, у которой он покупал хлеб. Вот у кого узнаем мы, возможно, где он живет. Я спросил адресную книгу и стал выискивать булочные. Неподалеку отсюда их было пять, нам оставалось только все их обойти. Стрев неохотно последовал за мной. У него был свой собственный план – заходить во все дома по улицам, расходящимся от улицы Клиши, и спрашивать, не здесь ли проживает Стрикленд. Моя несложная схема вполне себя оправдала, ибо уже во второй булочной женщина за прилавком сказала, что знает Стрикленда. Она только не была уверена, в каком из трех домов напротив он живет. Но удача нам сопутствовала, и первая же спрошенная нами консьержка сообщила, что комната Стрикленда находится на самом верху.

– Он, кажется, нездоров, – начал Дирк.

– Все может быть, – равнодушно отвечала консьержка. – En effet [в самом деле (франц.)] я уже несколько дней его не видела.

Стрев помчался по лестнице впереди меня, а когда и я наконец взобрался наверх, он уже разговаривал с каким-то рабочим в одной жилетке, открывшим на его стук. Рабочий велел нам стучать в соседнюю дверь. Тамошний жилец и вправду, кажется, художник. Но он не попадался ему на глаза уже целую неделю. Стрев согнул было палец, чтобы постучать, но вдруг с отчаянным лицом обернулся ко мне.

– А что, если он умер?

– Кто-кто, а Стрикленд жив!

Я постучал. Ответа не было. Я нажал ручку, дверь оказалась незапертой, и мы вошли – я впереди, Стрев за мной. В комнате было темно. Я с трудом разглядел, что это мансарда под стеклянной крышей; слабый свет с потолка лишь чуть-чуть рассеивал темноту.

– Стрикленд! – позвал я.

Ответа не было. Это уже и мне показалось странным, а Стрев, стоявший позади меня, дрожал как в лихорадке. Я не решался зажечь свет. В углу я смутно различил кровать, и мне стало жутко: а вдруг при свете мы увидим на ней мертвое тело?

– Что, у вас спичек, что ли нет, дурачье?

Я вздрогнул, услышав из темноты жесткий голос Стрикленда.

– Господи боже ты мой! – закричал Стрев. – Я уж думал, вы умерли!

Я зажег спичку и, оглянувшись в поисках свечи, успел увидеть, тесное помещение, одновременно служившее жильем и мастерской. Тут только и было что кровать, холсты на подрамниках, повернутые лицом к стене, мольберт, стол и стул. Ни ковра на полу, ни камина. На столе, заваленном красками, шпателями и всевозможным мусором, нашелся огарок свечи. Я зажег его. Стрикленд лежал в неудобной позе, потому что кровать была коротка для него, навалив на себя всю имевшуюся у него одежду. С первого взгляда было ясно, что у него жестокий жар. Стрев бросился к нему и срывающимся от волнения голосом забормотал:

– О бедный мой друг, что же это с вами? Я понятия не имел, что вы больны. Почему вы меня не известили? Вы же знаете, я все на свете сделал бы для вас. Не думайте о том, что я вам сказал тогда. Я был неправ. Глупо, что я обиделся...

– Убирайтесь к черту, – проговорил Стрикленд.

– Будьте же благоразумны. Позвольте мне устроить вас поудобнее. Неужели здесь никого нет, кто бы присмотрел за вами?

Он в полном смятении оглядел убогий чердак. Поправил одеяло и подушку. Стрикленд тяжело дышал и хранил злобное молчание. Потом сердито взглянул на меня. Я спокойно стоял и, в свою очередь, смотрел на него.

– Если хотите что-нибудь для меня сделать, принесите молока, – сказал он наконец. –

Я два дня не выхожу из комнаты.

Возле кровати стояла пустая бутылка из-под молока, в кусок газеты были завернуты отгрызки хлеба.

– Что вы ели это время? – спросил я.

– Ничего.

– С каких пор? – закричал Стрев. – Неужели вы два дня провели без еды и питья? Это ужасно!

– Я пил воду.

Глаза его остановились на большой кружке, до которой можно было дотянуться с кровати.

– Сейчас я сбегая за едой, – суетился Стрев, – скажите, чего бы вам хотелось?

Я вмешался, сказав, что надо купить градусник, немного винограду и хлеба. Стрев, радуясь, что может быть полезен, кубарем скатился по лестнице.

– Чертов дуралей! – пробормотал Стрикленд.

Я пощупал его пульс. Он бился часто и чуть слышно. На мои вопросы Стрикленд ничего не ответил, а когда я настойчиво повторил их, со злостью отвернулся к стене. Мне оставалось только молча ждать. Минут через десять возвратился запыхавшийся Стрев. Помимо всего прочего, он принес свечи, бульон, спиртовку и, как расторопный хозяин, тотчас же принялся кипятить молоко. Я измерил Стрикленду температуру. Градусник показал сорок и три десятых. Он был серьезно болен.

## 25

Вскоре мы его оставили. Дирку надо было домой обедать, а я сказал, что приведу к Стрикленду врача. Но едва мы оказались на улице, где дышалось особенно легко после спертого чердачного воздуха, как голландец стал умолять меня немедленно пойти вместе с ним в его мастерскую. У него есть одна идея, какая – он мне сейчас не скажет, но я непременно, непременно должен сопровождать его. Я не думал, чтобы врач в данный момент мог сделать больше, чем сделали мы, и поэтому согласился. Когда мы вошли, Бланш Стрев накрывала на стол. Дирк прямо направился к ней и взял ее руки в свои.

– Милочка моя, я хочу кое о чем попросить тебя, – сказал он.

Она посмотрела на него тем серьезным и ясным взглядом, который был едва ли не главной ее прелестью. Красная физиономия Стрева лоснилась от пота, вид у него был до смешного перебудораженный, но в его круглых, всегда удивленных глазах светилась решимость.

– Стрикленд очень болен. Возможно, при смерти. Он живет совсем один на грязном чердаке, где некому даже присмотреть за ним. Позволь мне перевезти его к нам.

Она быстро вырвала руки из его рук, я никогда еще не видел у нее такого стремительного движения; бледное лицо ее вспыхнуло.

– Ах, нет!

– Дорогая моя, не отказывай мне. Я не в силах оставить его там одного. Я глаз не сожму, думая о нем.

– Пожалуйста, иди и ухаживай за ним, я ничего не имею против. – Голос ее звучал холодно и высокомерно.

– Но он умрет.

– Пусть.

Стрев даже рот раскрыл, потом вытер пот с лица и обернулся ко мне, ища поддержки, но я не знал, что сказать.

– Он великий художник.

– Какое мне дело? Я его ненавижу.

– Дорогая, любимая моя, не говори так. Заклинаю тебя, позволь мне привести его. Мы его устроим здесь, может быть, спасем ему жизнь. Он тебя не обременит. Я все буду делать

сам. Я постелю ему в мастерской. Нельзя же, чтобы он подышал, как собака. Это бесчеловечно.

– Почему его нельзя отправить в больницу?

– В больницу! Он нуждается в любовном, заботливом уходе.

Меня удивило, что Бланш так взволновалась. Она продолжала накрывать на стол, но руки у нее дрожали.

– Не выводи меня из терпения! Заболей ты, Стрикленд бы пальцем не пошевелил для тебя!

– Ну и что с того? За мной ходила бы ты. Его помощь мне бы не понадобилась. А кроме того, я – дело другое, много ли я значу?

– Ты как неразумный щенок. Валяешься на земле и позволяешь людям топтать себя.

Стрев хихикнул. Ему показалось, что он понял причину ее гнева.

– Деточка моя, ты все вспоминаешь, как он пришел сюда смотреть мои картины. Что за беда, если ему они показались скверными? С моей стороны было глупо показывать их. А кроме того, они ведь и вправду не очень-то хороши.

Он унылым взором окинул мастерскую. Незаконченная картина на мольберте изображала улыбающегося итальянского крестьянина; он держал гроздь винограда над головой темноглазой девушки.

– Даже если они ему не понравились, он обязан был соблюсти вежливость. Зачем он оскорбил тебя? Чтобы показать, что он тебя презирает? А ты готов ему руки лизать. О, я ненавижу его!

– Деточка моя, ведь он гений. Не думаешь же ты, что я себя считаю гениальным художником. Конечно, я бы хотел им быть. Но гения я вижу сразу и всем своим существом преклоняюсь перед ним. Удивительнее ничего нет на свете... Но это тяжкое бремя для того, кто им осенен. К гениальному человеку надо относиться терпимо и бережно.

Я стоял в сторонке, несколько смущенный этой семейной сценой, и удивлялся, почему Стрев так настаивал на моем приходе. У его жены глаза уже были полны слез.

– Пойми, я умоляю тебя принять его не только потому, что он гений, но еще и потому, что он человек, больной и бедный человек!

– Я никогда не впущу его в свой дом! Никогда!

Стрев обернулся ко мне:

– Объясни хоть ты ей, что речь идет о жизни и смерти. Нельзя же оставить его в этой проклятой дыре.

– Конечно, ухаживать за больным было бы проще здесь, – сказал я, – но, с другой стороны, это очень стеснит вас. Его ведь нельзя будет оставить одного ни днем, ни ночью!

– Любовь моя, не может быть, чтобы ты страшилась заботы и отказала в помощи больному человеку.

– Если он будет здесь, то я уйду! – вне себя воскликнула миссис Стрев.

– Я тебя не узнаю. Ты всегда так добра и великодушна.

– Ради бога, оставь меня в покое. Ты меня с ума сведешь!

Слезы наконец хлынули из ее глаз. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Плечи ее судорожно вздрагивали. Дирк в мгновение ока очутился у ее ног. Он обнимал ее, целовал ей руки, называл нежными именами, и слезы умиления катились по его щекам. Она высвободилась из его объятий и вытерла глаза.

– Пусти меня, – сказала миссис Стрев уже мягче и, сияясь улыбнуться, обратилась ко мне: – Что вы теперь обо мне думаете?

Стрев хотел что-то сказать, но не решался и смотрел на нее отчаянным взглядом. Лоб его сморщился, красные губы оттопырились. Он почему-то напомнил мне испуганную морскую свинку.

– Значит, все-таки «нет», родная?

Она уже изнемогла и лишь устало махнула рукой.

– Мастерская твоя. Все здесь твое. Если хочешь привезти его сюда, как я могу этому

препятствовать?

Улыбка внезапно озарила его круглое лицо.

– Ты согласна? Я так и знал! Родная моя!

Она вдруг овладела собой и бросила на него взгляд, полный муки. Потом прижала обе руки к сердцу, словно стараясь утишить его биение.

– О Дирк, за всю мою жизнь я никогда ни о чем не просила тебя.

– Ты же знаешь, нет ничего на свете, чего бы я для тебя не сделал.

– Умоляю тебя, не приводи сюда Стрикленда. Кого хочешь, только не его. Приведи вора, пропойцу, первого попавшегося бродягу с улицы, и я обещаю тебе с радостью ходить за ним. Только не Стрикленда, заклинаю тебя, Дирк.

– Но почему?

– Я боюсь его. Он приводит меня в ужас. Он причинит нам страшное зло. Я это знаю. Чувствую. Если ты приведешь его, это добром не кончится.

– Что за безумие!

– Нет, нет! Я знаю, что говорю. Что-то ужасное случится с нами.

– Из-за того, что мы сделаем доброе дело?

Она прерывисто дышала, ужас искажил ее лицо. Я не знал, какие мысли проносились у нее в голове, но чувствовал, что какой-то безликий страх заставил ее потерять самообладание. А ведь обычно она была так спокойна и сдержанна; ее смятение было непостижимо. Стрев некоторое время смотрел на нее, оцепенев от изумления.

– Ты моя жена, и ты мне дороже всех на свете. Ни один человек не переступит этого порога без твоего согласия.

Миссис Стрев на минуту закрыла глаза. Мне показалось, что она теряет сознание. Я не знал, что она такая невропатка, и чувствовал глухое раздражение. Затем опять послышался голос Стрева, как-то странно прорезавший тишину:

– Разве ты не была в великой беде, когда тебе протянули руку помощи? И ты еще помнишь, как много это значит. Неужели ты не хотела бы, если тебе представляется случай, вызволить из беды другого человека?

Это были самые обыкновенные слова, правда, на мой слух они звучали несколько назидательно, так что я едва сдержал улыбку. Действие их поразило меня. Бланш Стрев вздрогнула и долгим взглядом в упор посмотрела на мужа. Он уставился в пол и, как мне показалось, смешался. Щеки ее слегка заалели, но тут же страшная мертвенная бледность проступила на лице; казалось, вся кровь застыла в ее жилах, даже руки у нее побледнели. Она задрожала. Тишина в мастерской стала плотной, почти осязаемой. Я был окончательно сбит с толку.

– Привези Стрикленда, Дирк. Я сделаю для него все, что в моих силах.

– Родная моя, – улыбнулся он и протянул к ней руки, но она отстранилась.

– Я не люблю нежностей на людях, Дирк. Это глупо.

Она опять была прежней Бланш, и никто не сказал бы, что минуту назад ее потрясло такое страшное волнение.

## 26

На следующий день мы перевезли Стрикленда. Понадобилось немало настойчивости и еще больше терпения, чтобы побудить его к этому, но он действительно был очень болен и не имел сил сопротивляться мольбам Стрева и моей решительности. Мы одели его, причем он все время слабым голосом чертыхался, свели с лестницы, усадили в кэб и доставили в мастерскую Стрева. Стрикленд так изнемог от всех этих перипетий, что без возражений позволил уложить себя в постель. Он прохворал месяца полтора. Бывали дни, когда нам казалось, что он не проживет и нескольких часов, и я убежден, что выкарабкался он только благодаря необычному упорству Стрева.

Я в жизни не видывал более трудного пациента. Он не был ни требователен, ни капри-

зен, напротив – никогда не жаловался, ничего не спрашивал и почти все время молчал; но его как будто злили наши заботливые попечения. На вопрос, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь, он отвечал насмешками или бранью. Я его просто возненавидел и, как только он оказался вне опасности, напрямик ему об этом заявил.

– Убирайтесь к черту, – был его ответ. Вот и все.

Дирк Стрев окончательно забросил работу и ходил за Стриклендом как преданная нянька. Он удивительно ловко оправлял ему постель и с хитростью, какой я никогда бы не заподозрил в нем, заставлял принимать лекарства. Никакие труды и хлопоты его не останавливали. Хотя средств у него хватало на безбедную жизнь вдвоем с женой, но никаких излишеств он себе, конечно, позволить не мог; теперь же он сумасбродно расточал деньги на всевозможные деликатесы, которые могли бы возбудить капризный аппетит Стрикленда. Никогда я не забуду, с какой терпеливой деликатностью уговаривал он его побольше есть. Грубости, которые тот говорил ему в ответ, никогда не выводили Дирка из себя; угрюмой злобы он старался не замечать; если его задирали, только посмеивался. Когда Стрикленд начал поправляться, его хорошее настроение выражалось в насмешках над Стревом, и тот нарочно дурачился, чтобы повеселить его, украдкой бросая на меня радостные взгляды: вот, мол, дело пошло на поправку! Стрев был великолепен.

Но еще больше меня удивляла Бланш. Она себя зарекомендовала не только способной, но и преданной сиделкой. Трудно было поверить, что она так яростно противилась желанию мужа водворить больного Стрикленда в их мастерскую. Она пожелала ухаживать за больным наравне с Дирком. Устроила постель так, чтобы менять простыни, не тревожа Стрикленда. Умывала его. Когда я подивился ее сноровке, она улыбнулась своей милой, тихой улыбкой и сказала, что ей пришлось одно время работать в больнице. Ни словом, ни жестом не выказала она своей отчаянной ненависти к Стрикленду. Она мало говорила с ним, но угадывала все его желания. В течение двух недель его даже ночью нельзя было оставлять одного, и она дежурила возле его постели по очереди с мужем. О чем она думала, часами сидя около него в темноте? На Стрикленда было страшно смотреть: он лежал, уставившись воспаленными глазами в пустоту; еще более худой, чем обычно, с всклокоченной рыжей бородой; от болезни его неестественно блестящие глаза казались еще огромнее.

– Говорит он когда-нибудь с вами по ночам? – спросил я однажды.

– Никогда.

– Вы по-прежнему его не терпите?

– Больше, чем когда-либо.

Она взглянула на меня своими ясными глазами. Лицо ее было безмятежно, и как-то не верилось, что эта женщина способна на бурный взрыв ненависти, свидетелем которого я был.

– А поблагодарил он вас хоть однажды за все, что вы для него сделали?

– Нет, – улыбнулась она.

– Страшный человек!

– И отвратительный.

Стрев, конечно, был в восторге и не знал, как благодарить жену за ту чистосердечную готовность, с которой она приняла на свои плечи это бремя. Его смущало лишь то, как отнеслись друг к другу Стрикленд и Бланш.

– Ты понимаешь, они часами не обмениваются ни единым словом.

Как-то раз – Стрикленду было уже настолько лучше, что через денек-другой он собирався встать с постели, – мы все сидели в мастерской. Дирк что-то рассказывал мне, миссис Стрев шила; мне показалось, что она чинит рубашку Стрикленда. Стрикленд лежал на спине и ни слова не говорил. Случайно я подметил, что его глаза с насмешкой и любопытством устремлены на Бланш Стрев. Почувствовав его взгляд, она, в свою очередь, подняла на него глаза, и несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Мне было не совсем ясно, что выражал ее взор. В нем была странная растерянность и, бог весть почему, смятение. Но тут Стрикленд отвел глаза и снова праздно уставился в потолок, она же все продолжала смот-



реть на него с непонятным и загадочным выражением.

Через несколько дней Стрикленд начал ходить по комнате. От него остались только кожа да кости, одежда болталась на нем как на вешалке. Взлохмаченная рыжая борода, отросшие волосы, необычно крупные черты лица, заострившиеся от болезни, придавали ему странный вид – странный настолько, что он уже не был отталкивающим. В самой несуразности этого человека проглядывало какое-то монументальное величие. Я не знаю, как точно передать впечатление, которое он на меня производил. Не то чтобы его насквозь проникала духовность, хотя телесная оболочка и казалась прозрачной, – слишком уже была в глаза чувственность, написанная на его лице; быть может, то, что я сейчас скажу, смешно, но это была одухотворенная чувственность. От Стрикленда веяло первобытностью, точно и в нем была заложена частица тех темных сил, которые греки воплощали в образах получеловека-полуживотного – сатира, фавна. Мне пришел на ум Марсий, поплатившийся своей кожей за дерзостную попытку состязаться в пении с Аполлоном. Стрикленд вынашивал в своем сердце причудливые гармонии, невиданные образы, и я предвидел, что его ждет конец в муках и отчаянии. «Он одержим дьяволом, – снова думал я, – но этот дьявол не дух зла, ибо он – первобытная сила, существовавшая прежде добра и зла».

Стрикленд был еще слишком слаб, чтобы писать, и молча сидел в мастерской, предаваясь бог весть каким грезам, или читал. Я видел у него книги самые неожиданные: стихи Малларме – он читал их, как читают дети, беззвучно шевеля губами, и я недоумевал, какие чувства порождают в нем эти изысканные каденции и темные строки; в другой раз я застал его углубившимся в детективный роман Габорио. Меня забавляла мысль, что в выборе книг сказываются противоречивые свойства его необыкновенной натуры. Интересно было и то, что, даже ослабев телом, он ни в чем себе не потакал. Стрев любил комфорт, и в мастерской стояли два мягких глубоких кресла и большой диван. Стрикленд к ним даже не подходил, и не из показного стоицизма – как-то раз я застал его там совсем одного сидящего на трехноглом стуле, – а просто потому, что он не нуждался в удобстве и любому креслу предпочитал кухонный табурет. Меня это раздражало, я никогда не видел человека более равнодушного к окружающей обстановке.

## 27

Прошло две или три недели. Однажды утром, когда моя работа вдруг застопорилась, я решил дать себе отдых и отправился в Лувр. Бродя по залам, я разглядывал хорошо знакомые картины и тешил свою фантазию чувствами, которые они во мне пробуждали. В одном из переходов я вдруг увидел Стрева. Я улыбнулся, ибо его кругленькая особа неизменно вызывала улыбку, но, подойдя ближе, заметил, что вид у него, против обыкновения, понурый. Чем-то очень удрученный, Стрев тем не менее был смешон, как человек, неожиданно упавший в воду: только что спасенный от смерти, он насквозь промок, еще не оправился от испуга, но понимает свое дурацкое положение. Его круглые голубые глаза тревожно блестели за очками.

– Стрев, – окликнул я его.

Он вздрогнул, затем улыбнулся, но какой-то горестной улыбкой.

– Что это вы, сэр, вдруг вздумали бездельничать? – весело осведомился я.

– Я давно не был в Лувре. И вот решил посмотреть, нет ли чего-нибудь нового.

– Но ведь ты говорил, что должен на этой неделе закончить картину?

– Стрикленд работает в моей мастерской.

– Ну и что с того?

– Я сам ему предложил. Он еще слишком слаб, чтобы вернуться домой. Я думал, мы будем работать вдвоем. В Латинском квартале многие так работают. Мне казалось, что это очень славно получится. Я всегда думал: как хорошо перемолвиться словом с товарищем, когда устанешь от работы.

Он говорил медленно, с запинками, глядя на меня своими добрыми, глуповатыми гла-

зами. Они были полны слез.

– Я тебя что-то не понимаю.

– Стрикленд не может работать, когда в мастерской еще кто-то есть.

– А тебе какое дело, черт возьми! Ведь это же твоя мастерская! – Стрев бросил на меня жалобный взгляд. Губы его дрожали.

– В чем дело, объясни, – потребовал я.

Он молчал, весь красный. Потом с несчастным видом уставился на какую-то картину.

– Он не позволил мне писать. Сказал, чтобы я убирался.

– Да почему ты-то не сказал ему, чтобы он убирался ко всем чертям?

– Он меня выгнал. Не драться же мне с ним. Швырнул мне вслед мою шляпу и заперся.

Я готов был убить Стрикленда, но злился и на себя, так как, глядя на беднягу Стрева, едва удерживался от смеха.

– А что на это сказала твоя жена?

– Она ушла за покупками.

– А ее-то он впустит?

– Не знаю.

Я оторопело уставился на Дирка. Он стоял, точно провинившийся школьник перед учителем.

– Хочешь, я сейчас пойду и выгоню Стрикленда?

Он слегка вздрогнул, и его лоснящееся красное лицо стало еще краснее.

– Нет. Ты лучше не вмешивайся.

Он кивнул мне и ушел. Я понял, что почему-то он не хочет обсуждать эту историю, но почему – мне было неясно.

## 28

Неделю спустя все выяснилось. На скорую руку пообедав в ресторане, я вернулся домой и сел читать в своей маленькой гостиной. Часов около десяти вечера в передней раздавался надтреснутый звон колокольчика. Я открыл дверь. Передо мной стоял Стрев.

– Можно к тебе?

На полутемной лестнице я толком не разглядел его, но в голосе его было что-то странное. Не знаю я, что он трезвенник, я бы подумал, что он пьян. Я провел его в гостиную и усадил в кресло.

– Слава богу, наконец-то я тебя застал! – воскликнул он.

– А в чем дело? – спросил я, удивленный такой горячностью.

Только сейчас я его разглядел. Всегда очень тщательно одетый, Дирк выглядел растерзанным и даже неопрятным. Я улыбнулся, решив, что он выпил лишнего, и уже хотел над ним подшутить!

– Я не знал куда деваться, – выпалил он. – Я уже приходил сюда, но тебя не было дома.

– Я сегодня поздно обедал.

Теперь я понял, что не хмель привел Дирка в такое состояние. Лицо его, обычно такое розовое, пошло багровыми пятнами. Руки тряслись.

– Что с тобой? – спросил я.

– От меня ушла жена.

Он с трудом выговорил эти слова, задохнулся, и слезы потекли по его круглым щекам. Я не знал, что сказать. Первая моя мысль была, что ее терпение лопнуло, и, возмущенная циническим поведением Стрикленда, она потребовала, чтобы Дирк выгнал его. Я знал, на какие вспышки она способна, несмотря на свое внешнее спокойствие. И если Стрев не согласился на ее требование, она могла выбежать из мастерской, клянясь никогда больше не возвращаться. Впрочем, бедняга был в таком отчаянии, что я даже не улыбнулся.

– Да не убивайся ты так, дружище. Она вернется. Нельзя же всерьез принимать слова, которые женщина говорит в запальчивости.

– Ты не понимаешь... Она влюбилась в Стрикленда.

– Что-о?! – Я был ошеломлен, но едва смысл его слов дошел до меня, как я понял, что это вздор. – Какую чепуху ты несешь. Уж не приревновал ли ты ее к Стрикленду? – Я готов был рассмеяться. – Ты знаешь не хуже меня, что она его не выносит.

– Ничего ты не понимаешь, – простонал он.

– Ты истеричный осел, – нетерпеливо крикнул я. – Пойдем-ка, я напою тебя виски с содовой, и у тебя легче станет на душе.

Мне подумалось, что по той или иной причине – а ведь один бог знает, как изобретателен человек по части самоистязания, – Дирк забрал себе в голову, что его жене нравится Стрикленд, и, со своей удивительной способностью высказываться не к месту, он оскорбил ее, а она, чтобы ему отплатить, притворилась, будто его подозрения основательны.

– Вот что, – сказал я, – пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, так ты ее и расхлебывай. Твоя жена, по-моему, женщина незлопамятная.

– Но как же я туда пойду? – устало отозвался Дирк. – Ведь они там. Я им оставил мастерскую.

– Значит, не жена ушла от тебя, а ты ушел от жены?

– Ради бога, не говори так!

Я все еще не принимал его слова всерьез, ни на минуту не веря тому, что он сказал. Однако Дирк был вне себя от горя.

– Ты ведь пришел поделиться со мной, так расскажи все по порядку.

– Сегодня я почувствовал, что больше не выдержу. Я сказал Стрикленду, что, по-моему, он уже вполне здоров и может возвратиться домой. Мастерская нужна мне самому.

– Кроме Стрикленда, на свете, верно, нет человека, которому нужно было бы это говорить, – заметил я. – Ну и что же он?

– Он усмехнулся. Ты же знаешь его манеру усмехаться так, что другой чувствует себя набитым дураком. И сказал, что уйдет немедленно. Он начал собирать свои вещи – помнишь, я взял из его комнаты все, что могло ему понадобиться. Потом спросил у Бланш бумаги и веревку.

Стрев запнулся, он прерывисто дышал и, казалось, был близок к обмороку. Признаться, я не это ожидал от него услышать.

– Бланш, очень бледная, все ему принесла. Он не сказал ни слова. Стал что-то насвистывать и увязал вещи. На нас не обращал никакого внимания. А глаза – насмешливые. Ты не можешь себе представить, как у меня было тяжело на сердце. Мне казалось, сейчас случится что-то страшное, и я жалел, что заговорил с ним. Он оглянулся, стал искать шляпу. Тут она сказала: «Дирк, я ухожу со Стриклендом. Я не могу больше жить с тобой». Я хотел заговорить, но слова не шли у меня с языка. Стрикленд молчал. Только насвистывал, словно все это его не касалось.

Стрев опять запнулся и вытер пот с лица. Я молчал. Теперь я уже верил ему и был потрясен, но все равно ничего не понимал.

Затем он рассказал мне – голос у него при этом срывался и по щекам текли слезы, – как он бросился к жене, хотел обнять ее, но она отшатнулась, умоляя не прикасаться к ней. Он заклинал ее не уходить. Говорил, как страстно ее любит, старался воскресить в ее памяти счастливые дни и то обожание, которым он окружал ее, твердил, что не сердится на нее и ни в чем ее не упрекает.

– Пожалуйста, Дирк, дай мне спокойно уйти, – сказала она наконец. – Разве ты не понимаешь, что я люблю Стрикленда? Я пойду за ним куда угодно.

– Но ведь ты никогда не будешь счастлива с ним. Остайся ради своего же блага. Ты не знаешь, что тебя ждет.

– Это твоя вина. Ты настоял на том, чтобы привести его сюда.

Тогда он бросился к Стрикленду.

– Сжальтесь над ней, – умолял он. – Не допускайте ее до этого безумия.

– Она вольна поступать как ей заблагорассудится, – отвечал Стрикленд. – Я не при-

нуждаю ее идти со мной.

– Мой выбор сделан, – глухим голосом сказала Бланш.

Оскорбительное спокойствие Стрикленда отняло у Дирка последнее самообладание. В слепой ярости, уже не понимая, что делает, он бросился на Стрикленда. Стрикленд, захваченный врасплох, покачнулся, но он был очень силен, даже после болезни, и Дирк в мгновение ока – как это случилось, он не понял, – очутился на полу.

– Смешной вы человечиска, – сказал Стрикленд.

Стрев поднялся. Жена его все это время оставалась спокойной, и его унижение стало еще нестерпимее оттого, что он оказался смешным в ее глазах. Очки соскочили у него во время борьбы, и он беспомощно озирался вокруг. Она подняла их и молча подала ему. Внезапно он почувствовал всю глубину своего несчастья и, сознавая, как он смешон и жалок, все же заплакал в голос. Он закрыл лицо руками. Те двое молча смотрели на него и не двинулись с места.

– Любимая моя, – простонал он наконец, – как ты можешь быть такой жестокой!

– Я ничего не могу с собой поделать, Дирк, – отвечала она.

– Я боготворил тебя, как никто никогда не боготворил женщину. Если я в чем-нибудь провинился перед тобой, почему ты не сказала, я бы загладил свою вину. Я делал для тебя все, что мог.

Она не отвечала, лицо у нее стало каменное, он видел, что только докучает ей. Она надела пальто, шляпу и двинулась к двери. Дирк понял: еще мгновение – и она уйдет. Он ринулся к ней, схватил ее руки, упал перед нею на колени; чувство собственного достоинства окончательно его оставило.

– Не уходи, моя родная. Я не могу жить без тебя! Я покончу с собой! Если я чем-нибудь тебя обидел, умоляю тебя, прости! Дай мне возможность заслужить прощение. Я сделаю все, все, чтобы ты была счастлива!

– Встань, Дирк! Не строй из себя шута.

Шатаясь, он поднялся, но все не имел сил отпустить ее.

– Куда ты пойдешь! – торопливо заговорил он. – Ты не представляешь себе, как живет Стрикленд. Ты не можешь там жить. Это было бы ужасно.

– Если мне это все равно, то чего же тебе волноваться?

– Подожди минуту. Я должен сказать... Ты не можешь мне запретить...

– Зачем? Я решилась. Что бы ты ни сказал, я не переменю своего решения.

Он всхлипнул и, словно унимая боль, схватился рукою за сердце.

– Я не прошу тебя перерешать, но только выслушай меня. Это моя последняя просьба. Не отказывай мне.

Она остановилась и посмотрела на него своим задумчивым взглядом, теперь таким отчужденным и холодным, отошла от двери и встала у шкафа.

– Я тебя слушаю.

Стрев сделал невероятное усилие, чтобы взять себя в руки.

– Будь же хоть немного благоразумной. Ты не можешь жить воздухом. У Стрикленда гроша нет за душой.

– Я знаю.

– Ты будешь терпеть страшные лишения. Знаешь, почему он так долго не поправлялся? Он ведь голодал невесть сколько времени.

– Я буду зарабатывать для него.

– Чем?

– Не знаю. Что-нибудь придумаю.

Страшная мысль промелькнула в голове у бедняги, он вздрогнул.

– Ты, наверно, с ума сошла. Что с тобою делается?

Она пожала плечами.

– Мне можно теперь идти?

– погоди еще секунду.

Он обвел взглядом мастерскую. Он любил ее, потому что присутствие Бланш делало все вокруг приветливым и уютным; на мгновение закрыл глаза, снова открыл их и посмотрел на жену так, словно хотел навеки запечатлеть в душе ее облик. Потом взялся за шляпу.

– Оставайся. Уйду я.

– Ты?

Она опешила и ничего не понимала.

– Я не могу допустить, чтобы ты жила на этом грязном чердаке. В конце концов этот дом так же твой, как и мой. Тебе здесь будет лучше. Хоть от самых страшных лишений ты будешь избавлена.

Он открыл шкаф и достал небольшую пачку денег.

– Я дам тебе половину того, что у меня есть.

Он положил деньги на стол. Стрикленд и Бланш молчали.

– Я попрошу тебя уложить мои вещи и передать их консьержке. Завтра я приду за ними. – Он сделал попытку улыбнуться. – Прощай, моя дорогая. Спасибо тебе за все счастье, которое ты дала мне.

Он вышел и прикрыл за собою дверь. Мне вдруг ясно представилось, как после его ухода Стрикленд бросил на стол свою шляпу, сел и закурил папиросу.

## 29

Я довольно долго молчал, размышляя о том, что рассказал мне Стрев. Нелегко мне было снести такое малодушие, и он это заметил.

– Ты не хуже меня знаешь, как живет Стрикленд, – сказал он дрожащим голосом. – Я не мог допустить, чтобы и она жила в таких условиях... просто не мог.

– Это твое дело, – отвечал я.

– Как бы ты поступил на моем месте?

– Она знала, на что идет. Если бы ей и пришлось страдать от известных неудобств, ее воля.

– Да, но ты не любишь ее.

– А ты все еще ее любишь?

– О, больше прежнего! Стрикленд не из тех людей, что могут сделать женщину счастливой. Долго это не продлится. Пусть она знает, что я никогда не покину ее.

– Как понимать твои слова? Ты готов взять ее обратно?

– Я бы ни на секунду не задумался. Да и я буду ей тогда всего нужнее. Страшно подумать – она останется одна, униженная, сломленная, и вдруг ей некуда будет деваться!

Он даже не чувствовал себя оскорбленным. А я, естественно, возмущался его малодушием. Вероятно, он догадался, о чем я думаю, так как сказал:

– Я и не мог надеяться, что она будет любить меня так же, как я ее. Я шут. Женщины таких не любят. Я всегда это знал. Не вправе я обвинять ее за то, что она полюбила Стрикленда.

– Ты начисто лишен самолюбия, это редчайшее свойство.

– Я люблю ее куда больше, чем самого себя. Мне кажется, самолюбие примешивается к любви, только когда ты больше любишь самого себя. Ведь женатые мужчины сплошь и рядом увлекаются другими женщинами; а потом все проходит, они возвращаются в семью, и люди считают это вполне естественным. Почему с женщинами должно быть по-другому?

– Рассуждение довольно логичное, – рассмеялся я, – но большинство мужчин иначе устроено, они не могут простить, и этим все сказано.

Я говорил и в то же время ломал себе голову над внезапностью случившегося. Неужели Стрев ничего не подозревал? Мне вспомнилось странное выражение, однажды промелькнувшее в глазах Бланш Стрев, может быть, она уже смутно понимала тогда, что роковое чувство зарождается в ее сердце.

– Ну, а до сегодняшнего дня ты не замечал, что между ними что-то есть?

– спросил я.

Стрев не ответил. Он взял со стола карандаш и машинально рисовал на промокательной бумаге какую-то женскую головку.

– Скажи прямо, если тебе неприятны мои вопросы.

– Нет, мне легче говорить... Ох, если бы ты знал, какие страшные муки терзали меня. – Он отшвырнул карандаш. – Да, я знал об этом уже две недели. Знал раньше, чем узнала она.

– Почему же, скажи на милость, ты не выставил Стрикленда за дверь?

– Я не верил. Мне это казалось неправдоподобным. Она его терпеть не могла. Более того – невероятным. Я считал, что это просто ревность. Понимаешь ли, я всегда был ревнив, но приучил себя не подавать виду! Я ревновал ее ко всем нашим знакомым мужчинам, ревновал и к тебе. Я знал, что она не любит меня так, как я люблю ее. Иначе и быть не могло. Но она позволяла мне любить себя, и этого мне было довольно для счастья. Я заставлял себя на долгие часы уходить из дому, чтобы оставить их одних; так я себя наказывал за недостойные подозрения, а когда я возвращался, я видел, что им это неприятно... вернее, ей. Стрикленду было все равно, дома я или нет. Бланш содрогалась, когда я подходил поцеловать ее. Когда я наконец убедился, я не знал, что делать. Устроить сцену? Да они бы только посмеялись надо мной. И вот мне подумалось: может быть, если держать язык за зубами и делать вид, что ничего не замечаешь, то все как-нибудь образуется. А его я решил выжить спокойно, без всяких ссор. Ох, если бы ты знал, как я мучился!

Затем Дирк повторил свой рассказ о том, как он просил Стрикленда уехать. Он выбрал подходящую минуту и постарался высказать эту просьбу как бы между прочим; да только не совладал со своим голосом и сам почувствовал, что в слова, которые должны были звучать легко и дружелюбно, вкралась горечь ревности. Он никак не ожидал, что Стрикленд тотчас же начнет собираться, и, уж конечно, не думал, что Бланш решит уйти вместе с ним. Я видел, как он жалеет теперь, что не сдержался и заговорил со Стриклендом. Мучения ревности он предпочитал мучениям разлуки.

– Я хотел убить его и только разыграл из себя шута.

Он долго сидел молча, прежде чем произнести то, что я ожидал от него услышать.

– Если бы я не поторопился, может, все и обошлось бы. Нельзя быть таким нетерпеливым. О, бедная моя девочка, до чего я ее довел!

Я только пожал плечами. Бланш Стрев была мне не симпатична, но сказать то, что я о ней думаю, значило бы причинить ему новую боль.

Он дошел до той степени возбуждения, когда человек говорит и уже не может остановиться. Без конца возвращался он к пресловутой сцене. То вспоминал что-то, чего еще не успел мне сообщить, то пускался в рассуждения о том, что ему следовало бы ей сказать, и затем опять принимался жаловаться на свою слепоту. Сожалел, что поступил так, а не этак. Между тем давно уже спустилась ночь, и я устал не меньше его самого.

– Что ж ты намерен делать дальше? – спросил я наконец.

– Что делать? Буду дожидаться, пока она не придет за мной.

– Почему тебе не уехать, хотя бы ненадолго?

– Нет, нет, я могу понадобится ей и должен быть под рукой.

Это был совсем потерянный человек. Он не в силах был собраться с мыслями. Когда я сказал, что пора ему лечь в постель, он возразил, что все равно не уснет. Он хотел уйти и до рассвета бродить по улицам. Его, безусловно, нельзя было оставлять одного. Наконец мне удалось уговорить его переночевать у меня, и я уложил его в свою кровать. В гостиной у меня стоял диван, на котором я отлично мог выспаться. Дирк был уже вконец измучен и не имел сил мне противиться. Чтобы заставить его забыться хоть на несколько часов, я дал ему изрядную дозу веронала. И лучшей услуги, пожалуй, нельзя было оказать бедняге.

### 30

Мой диван оказался не слишком удобным ложем, и я не столько спал, сколько думал о

Стреве. Поступок Бланш меня не очень-то озадачил: я считал, что это не что иное, как зов плоти. Она, вероятно, никогда по-настоящему не любила Дирка, и то, что я принял за любовь, было лишь чисто женским откликом на заботу и ласку, который женщины нередко принимают за любовь. Это пассивное чувство, оно способно обратиться на любой объект, как виноградная лоза способна обвить любое дерево. Людская мудрость воздаст должное этой способности, ибо как иначе объяснить, что девушку насильно выдают замуж за человека, который захотел ее, считая, что любовь придет сама собой. Такого рода чувство составляется из приятного ощущения благополучия, гордости собственницы, из удовольствия сознавать себя желанной, из радости домоводства. И «духовным» женщины называют его только из тщеславия. Это чувство беззащитно против страсти. Я подозревал, что к неистовой ненависти Бланш Стрев к Стрикленду с первых же дней примешивался некий элемент полового влечения. Но кто я, чтобы тщиться разгадать запутанные тайны пола? Возможно, что страсть Дирка возбуждала ее, не давая удовлетворения, и она возненавидела Стрикленда, почувствовав, что он может дать ей то, чего она алчет. Наверное, она с полной искренностью восставала против желания мужа привезти его к ним; Стрикленд пугал ее, а почему, она и сама не знала, но предчувствовала несчастье. Ее ужас перед Стриклендом, так ее волновавшим, вероятно, был ужасом перед самой собою. Внешность у Стрикленда была странная и грубая, его глаза смотрели равнодушно, а рот свидетельствовал о чувственности. Он был рослым, сильным мужчиной, вероятно необузданным в страсти, и не исключено, что и она почуяла в нем темную стихию, натолкнувшую меня на мысль о диких доисторических существах, которые хоть и не утратили еще первобытной связи с землей, но уже обладали и собственным разумом. Если он взволновал ее, она неизбежно должна была полюбить его или возненавидеть. Она возненавидела.

Да и ежедневное близкое общение с ним, когда он был болен, тоже, должно быть, странно ее возбуждало. Она кормила его, поддерживая его голову, а потом заботливо вытирала его чувственные губы и огненную бороду. Она мыла его руки, поросшие жесткой щетиной, и, вытирая их, чувствовала, что, несмотря на болезнь, они сильны и мускулисты. У него были длинные пальцы, чуткие, созидающие пальцы художника, и они пробуждали в ее мозгу тревожные мысли. Он спал очень спокойно, не двигаясь, точно мертвый, и был похож на дикого зверя, отдыхающего после долгой охоты, а она сидела подле него, гадая, какие видения посещают его во сне. Может быть, ему снилась нимфа, мчащаяся по лесам Греции, и сатир, неотступно преследующий ее? Она неслась, быстроногая, испуганная, но расстояние между ними все сокращалось, его горячее дыхание уже обжигало ей шею, и все-таки она молча стремилась вперед, и сатир также молча преследовал ее, а когда он наконец ее настиг, кто знает, в ужасе или в упоении забилося ее сердце?

Жестокий голод снесдал Бланш Стрев. Может быть, она еще ненавидела Стрикленда, но только он один мог утолить этот голод, и все, что было до этих дней, больше не имело для нее значения. Она уже не была женщиной со сложным характером, доброй и вспыльчивой, деликатной и бездумной. Она была менадой. Она была вся – желание.

Но, может быть, это лишь поэтические домыслы, может быть, ей просто наскучил муж и она сошлась со Стриклендом из бессердечного любопытства? Даже не питая к нему горячей любви, уступила его желанию, потому что была праздной и похотливой, а потом уже запуталась в сетях собственного коварства? Откуда мне знать, какие мысли и чувства таились за холодным взглядом этих серых глаз, под чистым безмятежным лбом?

Человек – существо столь переменчивое, что о нем ничего наверное знать нельзя, и все же поступку Бланш Стрев нетрудно было подыскать правдоподобное объяснение. Что же касается Стрикленда, то тут, сколько я ни ломал себе голову, я все равно ничего не понимал. То, что он сделал, прямо противоречило моему представлению о нем. Мне не казалось странным, что он так жестоко обманул доверие друга и, не задумываясь, причинил страшное горе человеку, только бы удовлетворить свою прихоть. Такова была его натура. О благодарности он не имел ни малейшего понятия. Он не знал сострадания. Чувства, обычные для каждого из нас, ему были не свойственны, и винить его за это было так же нелепо, как ви-

нить тигра за свирепую жестокость. Но самая прихоть – вот что было непостижимо.

Я не мог поверить, что Стрикленд влюбился в Бланш Стрев. И не верил, что он вообще способен любить. Любовь – это забота и нежность, а Стрикленд не знал нежности ни к себе, ни к другим; в любви есть милосердие, желание защитить любимое существо, стремление сделать добро, обрадовать, – если это и не самоотречение, то, во всяком случае, удивительно хорошо замаскированный эгоизм, – но есть в ней и некоторая робость. Нет, в Стрикленде ничего этого не было. Любовь – всепоглощающее чувство. Она отрешает человека от самого себя, и даже завзятый ясновидец хоть и знает, что так оно будет, но реально не в состоянии себе представить, что его любовь пройдет. Любовь облекает в плоть и кровь иллюзию, и человек, отдавая себе отчет в том, что это иллюзия, все же любит ее больше действительности. Она делает его больше, чем он есть, и в то же время меньше. Он перестает быть самим собою. Он уже не личность, а предмет, орудие для достижения цели, чуждой его «я». Любви всегда присуща доля сентиментальности, но Стрикленд меньше, чем кто-либо, был подвержен этому недугу. Я не верил, что Стрикленд может подчиниться чьей-то воле, никакого ига он бы не потерпел. Я знал, что он вырвет из сердца, может быть, со страшной мукой, которая обессилит и обескровит его, все, что станет между ним и тем непонятным влечением, которое не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Если мне удалось воссоздать образ Стрикленда во всей его сложности, то я возьму на себя смелость сказать еще и это: Стрикленд, казалось мне, слишком велик для любви и в то же время ее не стоит.

Впрочем, представление о страсти у каждого складывается на основе его собственных симпатий и антипатий и, следовательно, у всех разное. Такой человек, как Стрикленд, должен был любить на свой лад. И потому копаться в его чувствах бессмысленно.

## 31

На следующий день, несмотря на все мои уговоры, Стрев ушел от меня. Я предложил сходить за его чемоданом в мастерскую, но он хотел во что бы то ни стало идти сам. Помоему, он надеялся, что они позабыли собрать его вещи и ему представится случай еще раз повидать жену и, кто знает, может быть, убедить ее к нему вернуться. Но он нашел все свои пожитки внизу, в комнате консьержки, которая сказала ему, что Бланш нет дома. Вероятно, он не устоял перед соблазном поделиться с нею своим горем. Он рассказывал о нем всем встречным и поперечным; он ждал сочувствия, но над ним только подсмеивались.

Дирк вел себя из рук вон глупо. Зная, в какое время его жена ходит за покупками, и не имея сил так долго не видеться с нею, он однажды подстерг ее на улице. Она не хотела говорить с ним, но он настаивал, чтобы она хоть выслушала его. Он бормотал какие-то непонятные извинения за все, чем мог когда-либо огорчить ее, говорил, как преданно ее любит, умолял вернуться к нему. Она не отвечала и шла, не оглядываясь, все быстрее и быстрее. Я словно видел, как он едва поспевает за ней на своих толстеньких ножках. Задыхаясь от быстрой ходьбы, он говорил о том, как он несчастен, заклинал ее сжалиться над ним, обещал делать все, что она пожелает, лишь бы она его простила. Он умолял ее уехать с ним куда-нибудь далеко, предостерегал, что она скоро наскучит Стрикленду. Когда он рассказал мне об этой безобразной сцене, я вышел из себя. До такой степени утратить рассудок и чувство собственного достоинства! Он сделал решительно все, чтобы добиться презрения жены, ибо нет жестокости более страшной, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит; в ней не остается больше ни доброты, ни терпимости, одно только безумное раздражение. Бланш Стрев внезапно остановилась и наотмашь ударила мужа по лицу. Затем, пользуясь его растерянностью, убежала наверх, в мастерскую. И все это молча, без единого слова.

Рассказывая об этом, Стрев схватился за щеку, словно еще чувствуя боль от удара; при этом в глазах его стояла душераздирающая тоска и забавное недоумение. Он был похож на побитого школьника, и я, от души жалея его, едва удерживался от смеха.

Затем он стал ежедневно бродить возле лавок, в которых она делала покупки, и, стоя за



углом или на другой стороне улицы, смотрел, как она проходит мимо. Заговаривать с нею он больше не отваживался, но старался вложить во взгляд своих круглых глаз всю мольбу, переполнявшую его сердце. Он, кажется, надеялся, что вид его страданий смягчит ее. Она его попросту не замечала. Даже не потрудилась поискать другую дорогу или изменить время своего хождения по лавкам. В ее равнодушии была немалая доля жестокости; может быть, ей даже нравилось мучить его. Я не понимал, за что она его возненавидела.

Я упрашивал Стрева образумиться. Нельзя же быть такой тряпкой!

– Все это тебя до добра не доведет, – говорил я. – Лучше бы ты хорошенько отколотил ее. Тогда бы она перестала тебя презирать.

Я советовал ему уехать на время домой. Он часто рассказывал мне о тихом городке на севере Голландии, где и сейчас жили его родители, люди очень скромные. Отец его был плотник. Их опрятный старый домишко из красного кирпича стоял на берегу заброшенного канала. Улицы там были широкие и безлюдные. Уже двести лет городок умирал, но дома еще сохраняли величавую простоту доброго старого времени. В них некогда жили в покое и довольстве богатые купцы, посылавшие свои товары в далекую Индию, и обветшалые здания, казалось, были еще проникнуты ароматом тех счастливых дней. Берегом канала можно было выйти в зеленеющие поля, где там и сям стояли ветряные мельницы и белые с черным коровы лениво пощипывали траву. Мне казалось, что в этих краях, полных воспоминаний детства, Дирк Стрев сумеет позабыть о своем несчастье. Но он не хотел уезжать.

– Я должен быть здесь на случай, если понадобится ей, – твердил он. – Вдруг случится что-нибудь ужасное, а меня здесь не будет.

– А что, по-твоему, должно случиться?

– Не знаю, но мне страшно.

Я пожал плечами.

Несмотря на все свое горе, Дирк Стрев оставался комической фигурой. Если бы он хоть немножко похудел и осунулся, он, наверно, возбуждал бы жалость. Но ничего подобного с ним не случилось. Он был по-прежнему кругл, как шар, и его налитые красные щеки блестели, точно спелые яблоки. Своей щеголевой опрятности Дирк тоже не утратил и ходил, как обычно, в изящном черном костюме и в котелке, который был ему маловат и потому сидел на голове как-то лихо и весело. Дирк уже успел обзавестись брюшком, которое ничуть не уменьшалось от всех его горестей. Он теперь больше чем когда-либо походил на преуспевающего коммивояжера. Очень печально, когда внешность человека находится в таком несоответствии с его душой. В данном случае страсть Ромео пылала в теле сэра Тоби Белча. У Дирка было нежное, великодушное сердце и повадки шута, безошибочное чувство красоты и умение писать только пошлые картинки, удивительная душевная деликатность и вульгарные манеры. Он проявлял немало такта в чужих делах, но в своих собственных отличался удивительной бестактностью. Да, жестокою шутку сыграла старуха природа, когда соединила в одном человеке столь противоречивые качества и столкнула его лицом к лицу с беспощадной и равнодушной вселенной.

## 32

Я не видел Стрикленда уже больше месяца. Он был мне отвратителен, и при случае я с удовольствием высказал бы ему свое о нем мнение: однако разыскивать его с этой целью мне казалось излишним. Я всегда побаивался выступать в качестве поборника нравственности, ибо в этой роли обязательно становишься самодовольным, а человеку, не лишенному чувства юмора, это не совсем приятно. Если я уж рискую выставить себя в смешном виде, то лишь из-за чего-то очень мне дорогого. А Стрикленду была свойственна язвительная прямота, которая заставляла меня избегать всего хотя бы чуть-чуть похожего на позу. Но однажды вечером, идя по улице Клиши мимо излюбленного Стриклендом кафе, куда я теперь не заглядывал, я нос к носу столкнулся с ним. Стрикленд был не один, а с Бланш Стрев, и они направлялись к столику в углу, где он обычно сидел.

– Где вы, черт вас возьми, пропадали столько времени? Я уж думал, вы уехали.

Судя по сердечному тону, Стрикленд догадывался о моем нежелании с ним разговаривать. Впрочем, с ним особых церемоний разводить не приходилось.

– Нет, – сухо возразил я, – никуда я не уезжал.

– Почему же вы сюда не заглядывали?

– В Париже много кафе, где можно посидеть от скуки часок-другой.

Бланш подала мне руку и пожелала доброго вечера. Я почему-то был убежден, что она очень изменилась; но на ней было то же изящное и скромное серое платье, в котором я привык видеть ее, и лоб у нее был такой же чистый, и глаза такие же безмятежные, как в ту пору, когда она хлопотала по хозяйству в доме Стрева.

– Пойдемте сыграем партию в шахматы, – предложил Стрикленд.

Не знаю почему, но я не сумел отказаться и угрюмо пошел за ним к его постоянному столику. Стрикленд велел принести доску и фигуры. Они оба вели себя так, словно ничего не произошло, и я почувствовал, что было бы глупо мне держаться по-другому. Миссис Стрев невозмутимо наблюдала за нашей игрой. Она молчала, но она и всегда была молчалива. Я взглянул на ее губы. Может быть, по ним мне удастся прочесть, что она чувствует? Я следил, не промелькнет ли в ее глазах тень страха или горечи, смотрел на ее лоб: может быть, хоть одна мимолетная черточка будет свидетельствовать о скрытом волнении. Ее лицо было ничего не говорящей маской. Мирно сложенные руки покоились на коленях. Я уже знал, что она женщина больших страстей, а судя по тому страшному удару, который она нанесла Дирку, так беззаветно ей преданному, способна и на стремительный порыв и на отчаянную жестокость. Она ушла из-под надежного крова от доброго мужа, поставила крест на обеспеченной жизни, всем рискнула для преходящего – этого она не могла не знать – сердечного приключения. Если же вспомнить, что она была рачительной хозяйкой и примерно вела свой дом, тем замечательней покажется ее безрассудство, готовность жить в нужде и лишениях. Видимо, у этой женщины была очень сложная натура, едва ли не трагически противоречившая ее повадкам смиренницы.

Эта встреча взбудоражила меня, и мое воображение лихорадочно работало, пока я старался сосредоточиться на игре. Я всегда очень старался победить Стрикленда, так как он был из тех игроков, что презирают побежденного противника; от его нескрываемого торжества поражение становилось еще неприятнее. Но надо отдать ему справедливость – собственный проигрыш он сносил вполне добродушно. Препротивный победитель, он был симпатичным побежденным. Те, кто считает, что характер человека всего отчетливее проступает в игре, могут сделать отсюда довольно тонкие выводы.

По окончании игры я подозвал кельнера, заплатил за выпитое и откланялся. Наша встреча прошла совсем неинтересно. Ни одно слово не дало пищи моей фантазии, и какие бы предположения я ни строил, ничто их не подтверждало. Я терялся в догадках. Как складывается их жизнь? Много бы я дал, чтобы бесплотным духом проникнуть в стены мастерской и послушать, о чем говорят эти двое. Но моему воображению не за что было зацепиться.

### 33

Дня через два ко мне явился Дирк Стрев.

– Говорят, ты видел Бланш, – выпалил он.

– С чего ты взял?

– Мне говорил один человек, он видел тебя с ними в кафе. Почему ты мне ничего не сказал?

– Не хотел тебя расстраивать.

– Пустое. Ты же знаешь, я хочу все, все знать о ней, каждую мелочь.

Я приготовился отвечать на его вопросы.

– Как она выглядит?

- Ничуть не изменилась.
- По-твоему, она счастлива?
- Я пожал плечами.
- Что я могу тебе сказать? Мы сидели в кафе, играли в шахматы. Я с нею и словом не перемолвился.
- Да разве по лицу не видно?
- Я покачал головой. Мне оставалось только повторить, что ни словом, ни жестом она не выдала своих чувств. Ему, Дирку, лучше меня известно ее удивительное самообладание.
- Он стиснул руки.
- О-о, я так боюсь! Я уверен, случится что-то страшное, и я не в силах этому помешать.
- Но что именно? – осведомился я.
- Не знаю, – простонал он, сжимая голову руками. – Я предвижу ужасную катастрофу. Стрев и всегда-то легко приходил в волнение, но сейчас он был положительно вне себя и никаких резонов не слушал. Я думал, что Бланш скоро станет невтерпеж со Стриклендом. Неправду говорят, будто что посеешь, то и пожнешь. Люди часто делают все от них зависящее, чтобы навлечь на себя беду, но потом каким-то образом умудряются избежать последствий своего безумия. Поссорившись со Стриклендом, Бланш, конечно, оставит его и вернется к мужу, который в своем смирении только и ждет возможности все простить и забыть. Признаться, ни симпатии, ни сострадания она мне не внушала.
- Да, но ты не любишь ее, – повторял Стрев.
- А почему надо полагать, что она несчастна? Насколько мне известно, эта парочка премило устроилась.
- Стрев посмотрел на меня скорбными глазами.
- Тебе все это, разумеется, безразлично, а для меня это важно, бесконечно важно. Мне сделалось совестно за свою легкомысленную резкость.
- Можешь ты исполнить одну мою просьбу? – сказал Дирк.
- Охотно.
- Напиши Бланш от моего имени.
- А почему ты сам не можешь написать?
- Я уже не раз писал ей. Но ответа мне ждать не приходится. Она, видно, даже не читает моих писем.
- Ты забываешь о женском любопытстве. Неужели ты думаешь, она устоит против соблазна?
- Да, поскольку он исходил от меня.
- Я взглянул на него. Он опустил глаза. Его ответ показался мне до боли унижительным. Дирк знал, что он настолько ей безразличен, что она даже не вскрывает его писем.
- И ты веришь, что она со временем к тебе вернется? – спросил я.
- Пусть она знает, что, если ей станет уж совсем плохо, она может смело на меня рассчитывать.
- Я взял листок бумаги.
- Скажи точнее, что я должен писать?
- И я написал:
- «Дорогая миссис Стрев.
- Дирк просит меня сказать, что в любое время, когда бы он вам ни понадобился, он будет счастлив возможностью быть вам полезным. Он не питает к вам недобрых чувств из-за того, что случилось. Его любовь неизменна. Вы всегда застанете его по нижеследующему адресу...»

же не предвидел столь трагической развязки. Настало лето, душное и знойное, даже ночь не приносила отдыха перенапряженным нервам. Раскаленные солнцем улицы, казалось, отдавали назад весь дневной жар, и пешеходы еле волочили ноги. Я очень давно не видел Стрикленда. Занятый другим, я вовсе перестал о нем думать. Дирк наскучил мне своими тщетными lamentациями, и я избегал его. Нехорошая это была история, и я больше не собирался забивать ею себе голову.

Как-то утром я сидел в пижаме и работал. Мысли мои блуждали далеко, я думал о солнечных заливах Бретани, о свежем морском ветре. На столе возле меня стоял кофейник, в котором консьержка принесла мне традиционное *café au lait* [кофе с молоком (франц.)], и остатки недоеденного печенья. Я слышал, как за стеной консьержка спускает воду после моей утренней ванны. Зазвенел звонок. Она открыла дверь, и раздался голос Стрева, спрашивающий, дома ли я. Не вставая с места, я крикнул ему: «Входи». Он ворвался в комнату и бросился ко мне.

– Она покончила с собой, – хрипло проговорил он.

– Что ты хочешь сказать? – крикнул я, пораженный.

Стрев шевелил губами, но ни один звук больше не слетал с них. Затем он стал что-то лопотать, как помешанный. Сердце у меня заколотилось, и, сам не зная почему, я вдруг обозлился.

– Да возьми же себя в руки! Что ты такое несешь?

Он делал отчаянные жесты, но слова у него по-прежнему не выговаривались. Он точно лишился языка. Не знаю, что на меня нашло, но я схватил его за плечи и встряхнул. Вспоминая об этом, я, конечно, досаую на себя, но последние бессонные ночи, видимо, расшатали мои нервы сильнее, чем я думал.

– Дай мне сесть, – задыхаясь, проговорил он наконец.

Я налил стакан вина и хотел подать ему, но мне пришлось поить его, как ребенка, держа стакан у самых его губ. Он с трудом сделал первый глоток, и несколько капель пролилось на его манишку.

– Кто покончил с собой?

Не знаю, почему я задал этот вопрос, мне ведь и так было понятно, о ком он говорит.

Он сделал усилие, чтобы овладеть собой.

– Вчера вечером они поссорились. Он ушел от нее.

– Она умерла?

– Нет, ее увезли в больницу.

– Так что ж ты мне толкуешь? – крикнул я. – Почему ты говоришь, что она покончила с собой?

– Не сердись на меня... Я ничего не могу сказать, когда ты со мною так...

Я крепко сжал руки, силясь сдержаться, и даже попытался улыбнуться.

– Извини. Я тебя не тороплю. Успокойся и расскажи все по порядку.

Круглые голубые глаза Дирка были полны ужаса, стекла очков делали их взгляд еще страшнее.

– Сегодня утром консьержка поднялась наверх, чтобы передать письмо, ей не открыли на звонок. Изнутри слышались стоны. Дверь оказалась незапертой, и она вошла. Бланш лежала на кровати, а на столе стояла бутылка с щавелевой кислотой.

Стрев закрыл лицо руками и, всхлипывая, раскачивался взад и вперед.

– Она была в сознании?

– Да. Ох, если бы ты знал, как она мучилась! Я этого не вынесу! Не вынесу!

Он кричал в голос.

– Черт тебя возьми, тебе и выносить-то нечего. Это ей надо вынести.

– Как ты жесток!

– Что же дальше?

– Они послали за доктором и за мной, дали знать в полицию. Я давно уже сунул консьержке двадцать франков и просил послать за мной, если что случится.

Он перевел дыхание, и я понял, как трудно ему продолжать.

– Когда я пришел, она не хотела говорить со мной. Велела им меня прогнать. Я клялся, что все простил ей, но она не слушала. Она пыталась биться головой о стену. Доктор сказал, что мне нельзя оставаться с нею. Она все твердила «Уведите его!» Я вышел из спальни и стал ждать в мастерской. Когда приехала карета и они уложили ее на носилки, мне велели уйти в кухню, чтобы она не знала, что я здесь.

Покуда я одевался – Стрев хотел, чтобы я немедленно отправился с ним в больницу, – он говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолоки. По дороге он объяснил мне, зачем я ему нужен. Если она опять не пожелает впустить его, то, может быть, выпустит меня. Он умолял меня снова сказать ей, что он любит ее по-прежнему, не станет ни в чем упрекать ее и хочет только одного – помочь ей. Он ничего не требует и никогда не станет принуждать ее к нему вернуться. Она будет совершенно свободна.

Но когда мы пришли в больницу – это было мрачное, угрюмое здание, от одного вида которого делалось скверно на душе, – и после бесконечных расспросов и хождений по лестницам и коридорам добрались наконец до лечащего врача, он объявил нам, что больная слишком слаба и сегодня никого принять не может. Для врача, маленького, бородатого человечка в белом халате и с грубоватыми манерами, случай с Бланш был самым обыкновенным, а взволнованные родственники – докучливыми просителями, с которыми надо обходиться покруче. Да и что тут могло показаться ему из ряда вон выходящим? Истерическая женщина, поссорившись с любовником, приняла яд: это бывает нередко. Сначала он подумал, что Дирк – виновник несчастья, и был с ним незаслуженно груб. Когда я объяснил, что он муж, готовый все простить, врач посмотрел на него любопытным, испытующим взглядом. Мне показалось, что в этом взгляде промелькнула еще и насмешка. Дирк являл собою классический тип обманутого мужа. Врач слегка пожал плечами.

– В настоящую минуту опасности нет, – ответил он на наши расспросы. – Но мы не знаем, сколько она выпила кислоты. Не исключено, что она отделается испугом. Женщины часто пытаются покончить с собой из-за любви, но обычно так, чтобы в этом не преуспеть. Как правило, это жест, которым они хотят испугать или разжалобить любовника.

В тоне его слышалось нескрываемое презрение. Бланш Стрев явно была для него только единицей, которую предстояло внести в число лиц, покушавшихся на самоубийство в текущем году в городе Париже. На долгие разговоры с нами у него не было времени, и он назначил нам час, когда прийти завтра: если больной станет лучше, он разрешит мужу повидать ее.

## 35

Не знаю, как мы прожили этот день. Стрев ни на минуту не мог остаться один, и я из кожи лез, пытаясь развлечь его. Я потащил его в Лувр, и он делал вид, что смотрит картины, но я знал, что мысленно он там, у жены. Я заставлял его есть и после завтрака насильно уложил в постель, но он не мог уснуть. Он охотно согласился пожить несколько дней у меня. Я совал ему книги, но, пробежав глазами страницу-другую, он бессмысленно уставлялся в пространство. Вечером мы сыграли неисчислимое множество партий в пикет, и он, чтобы мои старания не пропали зря, храбро притворялся заинтересованным. Кончилось тем, что я дал ему снотворного, и он впал в тревожное забытие.

На следующий день в больнице к нам вышла сиделка, ухаживавшая за Бланш, и сказала, что больной немного лучше; по нашей просьбе сиделка пошла узнать, не хочет ли она видеть мужа. Мы слышали голоса за дверью. Наконец сиделка вернулась и объявила, что больная отказывается принять кого бы то ни было. Мы сказали, что если она не хочет видеть Дирка, то, может быть, согласится принять меня, но и на это последовал отказ. Губы Дирка дрожали.

– Я не вправе настаивать, – сказала сиделка. – Больная слишком слаба. Возможно, что

через день-два она передумает.

– Может быть, она все-таки хочет кого-нибудь видеть? – тихо, почти шепотом спросил Дирк.

– Она говорит, что у нее только одно желание – пусть ее оставят в покое.

Руки Дирка как-то странно дергались, словно они ничего общего не имели с его телом.

– Пожалуйста, скажите ей, что если она хочет видеть одного человека, то я приведу его. Я хочу только, чтобы она была счастлива.

Сиделка взглянула на него своими спокойными, добрыми глазами, которые видели всю земную боль и горечь, но оставались безмятежными, ибо перед ними стояло видение иного, безгрешного мира.

– Я скажу это ей, когда она немного успокоится.

Дирк, изнемогая от сострадания, умолял ее спросить Бланш сейчас же.

– Может быть, от этого ей станет лучше. Заклинаю вас, спросите ее.

По лицу сиделки пробежала слабая, жалостливая улыбка; она повернулась и пошла к Бланш. Я слышал ее приглушенный голос, и потом другой, незнакомый мне голос ответил:

– Нет. Нет. Нет!

Выйдя к нам, сиделка покачала головой.

– Неужели это она говорила? – спросил я. Я не узнал ее голоса.

– Голосовые связки больной, видимо, сильно обожжены.

Дирк чуть слышно вскрикнул в отчаянии. Я велел ему выйти и подождать меня внизу, мне хотелось остаться с глазу на глаз с сиделкой. Он не спросил, зачем мне это нужно, и покорно вышел. Он утратил остатки воли и стал похож на послушного ребенка.

– Объяснила она вам, почему она это сделала? – спросил я.

– Нет. Она не хочет говорить. Она лежит на спине, не шевелясь иногда целыми часами. И плачет. Ее подушка все время мокрая. Она слишком слаба, чтобы пользоваться платком, и слезы льются у нее по щекам.

Меня словно кольнуло в сердце. В ту минуту я готов был убить Стрикленда, и, помнится, голос у меня дрожал, когда я прощался с сиделкой.

Дирк Стрев ждал меня на лестнице. Он, казалось, ничего вокруг не видел и не заметил моего приближения, покуда я не тронул его за рукав. По улице мы шли молча. Я старался представить себе, что могло толкнуть бедняжку на этот страшный шаг? Я полагал, что Стрикленду все уже известно. К нему, наверно, приходили из полиции снимать допрос. Где он сейчас? Возможно, вернулся на старый чердак, служивший ему мастерской. Странно, что она не пожелала видеть его. Или она боялась послать за ним, зная, что он откажется прийти? В какую же бездну жестокости заглянула она, если после этого отказывалась жить.

## 36

Следующая неделя была ужасна. Стрев дважды в день ходил в больницу справляться о жене, которая по-прежнему не желала его видеть. Первое время он приходил оттуда довольный и воспрянувший духом, так как дело, видимо, шло на поправку, а затем в отчаянии, так как осложнение, которого врач все время опасался, отняло надежду на благополучный исход. Сиделка сочувствовала его горю, но ей нечего было сказать ему в утешение. Бедная женщина лежала неподвижно и отказывалась говорить; глаза ее, устремленные в одну точку, казалось, уже видели смерть. Теперь это был вопрос двух-трех дней, не более. И когда Стрев пришел ко мне поздно вечером, я понял, что она умерла. Он был совершенно обессилен. От его обычной говорливости не осталось и следа. Он молча опустил на диван. Я оставил его в покое, так как знал, что здесь слова утешения бесполезны. Боясь, что он сочтет меня бессердечным, я не решался читать и с трубкой в зубах сидел у окна, покуда он не нашел в себе силы заговорить со мной.

– Ты был так добр ко мне, – сказал он наконец. – Все были так добры...

– Глупости, – отвечал я не без смущения.

– В больнице мне сказали, чтобы я подождал. Дали мне стул, и я сел в коридоре у ее дверей. Когда она была уже без памяти, они меня впустили. У нее рот и подбородок были обожжены. Ужасно, ее прелестный подбородок – весь израненный. Она умерла совсем спокойно, я даже не знал, что она мертва, куда сиделка не сказала мне.

Он был слишком утомлен, чтобы плакать. В полной прострации он лежал на спине, точно в теле его не осталось уже ни капли сил, и вскоре я заметил, что он уснул. Впервые по-настоящему уснул за целую неделю. Природа, временами столь жестокая, иногда бывает милосердна. Я накрыл его пледом и потушил свет. Утром, когда я проснулся, он все еще спал. Он даже не переменял положения, и очки в золотой оправе по-прежнему сидели у него на носу.

### 37

Бланш Стрев умерла при таких обстоятельствах, что нам пришлось пройти через множество отвратительных формальностей, прежде чем мы получили разрешение ее похоронить. Дирк и я вдвоем тащились за гробом в карете, но обратно ехали быстрее, так как возница на дрогах, покачивавшийся впереди нас, нахлестывал лошадей, казалось, спеша стряхнуть с себя даже самое воспоминание о покойнице. Страшное и незабываемое зрелище!

Я тоже чувствовал неодолимое желание выбросить из головы всю эту мрачную историю. Меня уже тяготила трагедия, собственно говоря, непосредственно меня не касавшаяся, и, делая вид перед самим собой, что я стараюсь для Дирка, я с облегчением заговорил о другом.

– Не думаешь ли ты на время уехать? – сказал я. – Право же, тебе сейчас лучше побыть вдали от Парижа.

Он не отвечал, но я безжалостно настаивал.

– Есть у тебя какие-нибудь планы на ближайшее будущее?

– Нет.

– Ты должен вернуться к жизни. Почему бы тебе не поехать в Италию и не начать снова работать?

Он опять промолчал, но мне на выручку пришел наш возница. На мгновение придержав лошадей, он перегнулся с козел и что-то сказал – что именно, я не разобрал – и высунился из окошка кареты, чтобы расслышать: он спрашивал, куда нас везти.

– Погодите минутку, – отвечал я. – Я бы хотел, чтобы мы вместе позавтракали, – обратился я к Дирку. – Я велю ему свезти нас на площадь Пигаль.

– Нет, я пойду в мастерскую.

– Хочешь, я пойду с тобой?

– Нет, я лучше пойду один.

– Хорошо.

Я крикнул кучеру адрес, и мы опять продолжали свой путь в молчании. Дирк не был у себя в мастерской с того злосчастного утра, когда Бланш отвезли в больницу. Я был рад, что он хочет остаться один, и, проводив его до дверей, с чувством облегчения с ним распрощался. Я снова наслаждался парижскими улицами и радовался, глядя на снующую взад и вперед толпу. День выдался ясный, солнечный, и радость жизни бурлила во мне. Я ничего не мог с собой поделать. Стрев и его беда вылетели у меня из головы. Я хотел радоваться.

### 38

Я не видел его почти целую неделю. Но наконец под вечер, часов около семи, он зашел за мною и потащил меня обедать. Он был в глубоком трауре, котелок его обвивала черная лента, и даже носовой платок был оторочен черной каймой. Глядя на этот скорбный наряд, можно было подумать, что внезапная катастрофа разом унесла всех его родных и даже како-

го-нибудь двоюродного дядюшки у него не осталось на свете. Его кругленькая фигурка и толстые красные щеки смешно контрастировали с траурной одеждой. Жестокая участь – даже на беспредельной горе Дирка ложился налет шутовства!

Он объявил мне, что решил уехать, только не в Италию, как я советовал, а в Голландию.

– Завтра я уезжаю. Скорей всего мы никогда больше не увидимся.

Я попытался что-то возразить, но он слабо улыбнулся.

– Я пять лет не был дома. Мне казалось, что все это отошло далеко-далеко. Я так оторвался от родных краев, что меня пугала мысль съездить туда даже на время, а теперь я вижу, что это единственное мое пристанище.

Он был измучен, подавлен и мыслями то и дело возвращался к своей нежной, любящей матери. Годами он терпеливо сносил свою смехотворность, но теперь она, казалось, придавливала его к земле. Последний удар, нанесенный изменой Бланш, отнял у него ту живость нрава, которая ему помогала весело с этим мириться. Больше он уже не мог смеяться заодно с теми, что смеялись над ним. Он стал парией. Он рассказывал мне о своем детстве в чистеньком кирпичном домике и о страсти матери к опрятности и порядку. Кухня ее была истинным чудом белизны и блеска. Нигде ни пылинки, и все на своем месте. Аккуратность ее переходила в манию. Я как живую видел эту румяную хлопотливую старушку, что всю жизнь с утра и до поздней ночи пеклась о том, чтобы домик ее сиял чистотой и нарядностью. Отец Дирка, рослый, сухощавый старик с руками, заскорузлыми от неустанного труда, скупой на слова, по вечерам читал вслух газеты, а его жена и дочь (теперь она была замужем за капитаном рыболовецкой шхуны), чтобы не терять времени даром, шили. Ничего никогда не случалось в этом городке, отброшенном назад цивилизацией, и год сменялся годом, покуда не приходила смерть, как Друг, несущий отдых тем, что усердно потрудились.

– Мой отец хотел, чтобы я тоже стал плотником. В пяти поколениях переходило у нас это ремесло от отца к сыну. Может быть, в этом мудрость жизни: идти по стопам отца, не оглядываясь ни направо, ни налево. Маленьким мальчиком я говорил, что женюсь на дочке соседа-шорника. У девочки были голубые глаза и косички, белые, как лен. При ней все в моем доме блестело бы, как стеклышко, и наш сын перенял бы мое ремесло.

Стрев вздохнул и умолк. Мысли его унеслись к тому, что могло бы быть, и благополучие этой жизни, которым он некогда пренебрег, исполнило тоской его сердце.

– Жизнь груба и жестока. Никто не знает, зачем мы здесь и куда мы уйдем. Смирение подобает нам. Мы должны ценить красоту покоя. Должны идти по жизни смиренно и тихо, чтобы судьба не заметила нас. И любви мы должны искать у простых, немудрящих людей. Их неведение лучше, чем все наше знание. Нам надо жить тихо, довольствоваться скромным своим уголком, быть кроткими и добрыми, как они. Вот и вся мудрость жизни.

Я считал, что это говорит в нем его сломленный дух, и восстал против такого самоуничтожения. Но вслух сказал другое:

– А как ты попал на мысль сделаться художником?

Он пожал плечами.

– У меня обнаружили способности к рисованию. В школе я получал награды за этот предмет. Бедная матушка очень гордилась моим талантом и однажды подарила мне ящик с акварельными красками. Она носила мои наброски к пастору, к доктору и судье. Они-то и послали меня в Амстердам экзаменоваться в школу живописи. Я выдержал экзамен. Бедняжка, как она была горда! Сердце у нее разрывалось при мысли о разлуке со мной, но она силилась не показать своего горя. Она так радовалась, что ее сын будет художником. Отец с матерью берегли каждый грош и прикопили довольно денег, чтобы мне прожить в Амстердаме, а когда была выставлена моя первая картина, они все приехали, – отец, мать и сестра: мать смотрела на нее и плакала. – Его добрые глаза увлажнились. – И теперь нет такой стены в нашем домишке, на которой не висела бы моя картина в красивой золотой раме.

Лицо Дирка на мгновение засветилось тихой радостью. Я вспомнил его холодные жанровые сценки – живописных крестьян под кипарисами или оливами. Как странно они долж-



ны выглядеть в своих аляповатых рамах на стене крестьянского домика.

– Добрая душа, она думала, что невесть как облагодетельствовала сына, сделав из него художника, но, может, лучше бы я покорился воле отца и был бы теперь просто-напросто честным плотником.

– Ну, а сейчас, когда ты знаешь, что дает человеку искусство, ты бы мог пойти по другой дороге? Мог бы отказаться от того упоения, которое испытывал благодаря ему?

– Выше искусства ничего нет на свете, – помолчав, ответил Дирк.

Он долго в задумчивости смотрел на меня, наконец сказал:

– Ты знаешь, я виделся со Стриклендом.

– Ты?

Я был поражен. Мне казалось, что Стреву невыносимо будет его видеть. Он слабо улыбнулся:

– Ты же сам говорил, что я лишен чувства гордости.

– Что ты имеешь в виду?

И он рассказал мне удивительную историю.

### 39

Когда мы расстались после похорон бедной Бланш, Стрев с тяжелым сердцем вошел в дом. Смутное стремление к самомучительству гнало его в мастерскую, хотя он и содрогался при мысли о страданиях, которые его ждут. Он едва втащился по лестнице, ноги отказывались ему служить, и, прежде чем войти, долго стоял у дверей, собираясь с силами. Ему было дурно. Он едва не бросился за мною, чтобы умолить меня вернуться; ему все казалось, что в мастерской кто-то есть. Он вспомнил, как часто стоял перед дверью мастерской, чтобы отдышаться после подъема на крутую лестницу, и как от нетерпеливого желания поскорее увидеть Бланш у него снова захватывало дух. Видеть ее – это было счастье, никогда не утихавшее, и, даже выходя из дому на какие-нибудь полчаса, он рвался к встрече так, словно они не виделись целый месяц. Вдруг ему стало казаться, что она не умерла. Все, что случилось, только сон, страшный сон, сейчас он повернет ключ, войдет и увидит ее склоненной над столом в грациозной позе женщины с Venedicite Шардена, всегда представлявшейся ему образцом прелести. Он быстро вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел.

Мастерская не имела запущенного вида. Аккуратность была одной из тех черт, которые так пленяли его в жене; он с молоком матери впитал любовь к той радости, которую дают чистота и порядок, и когда заметил, что Бланш инстинктивно кладет каждый предмет на отведенное ему место, то теплое и благодарное чувство поднялось в его сердце. В спальне все было так, словно она только что вышла оттуда: на туалетном столике лежали две щетки и между ними изящная гребенка; кто-то застелил постель, на которой Бланш провела свою последнюю ночь дома, и на подушке, в вышитом конверте, лежала ее ночная сорочка. Невозможно было поверить, что она уже никогда не войдет в эту комнату.

У Дирка пересохло в горле, и он пошел в кухню напиться воды. Здесь тоже все было в полном порядке. Над плитой на полке стояли тщательно вымытые тарелки, из которых она и Стрикленд ели в последний вечер перед ссорой. Ножи и вилки были убраны в стол. Под колпаком лежали остатки сыра, в жестяной коробке – горбушка хлеба. Она покупала продукты ежедневно и ровно столько, сколько нужно, так что со дня на день у нее в хозяйстве ничего не оставалось. Из протокола, составленного полицией, Стрев знал, что Стрикленд ушел из дому тотчас после обеда, и дрожь охватила его при мысли, что Бланш достало силы все вымыть и убрать, как обычно. Эта методичность лишней раз доказывала, как обдуманно она действовала. Ее самообладание было страшно. Острая боль внезапно пронзила его, ноги у него подкосились. Он доплелся до спальни, бросился на постель и стал звать: «Бланш! Бланш!»

Мысль о ее страданиях была ему нестерпима. Он вдруг ясно увидел, как она стоит в кухне – кухня у них была крошечная, – моет тарелки, стаканы, вилки, ложки, до блеска чи-

стит ножи, затем все расставляет по местам, моет раковину и, встряхнув полотенце, вешает его сушиться – оно все еще висит здесь, истрепанный серый лоскут, – и оглядывается кругом, все ли в порядке. Он видел, как она спускает засученные рукава, снимает фартук – вот он на гвозде за дверью, – достает пузырек со щавелевой кислотой и идет в спальню.

Не в силах терпеть эту муку, он вскочил с кровати и бросился вон из спальни. Вошел в мастерскую. Там было темно, так как кто-то задернул занавески на огромном окне. Стрев торопливо раздвинул их, и рыдания сдавили ему горло при первом же взгляде на комнату, в которой он был так счастлив. И здесь тоже все осталось без перемен. Стрикленд был равнодушен к тому, что его окружало, и жил в чужой мастерской, ровно ничего не меняя в ней. Обстановка у Стрева была продуманно артистичной, в соответствии с его представлением о том, как должен жить художник. На стенах там и сям старинная парча, на рояле – кусок дивного поблекшего шелка. В одном углу копия Венеры Милосской, в другом – Венеры Медицейской. Две итальянские горки с дельфтским фаянсом, несколько барельефов. Была здесь в прекрасной золоченой раме и копия с веласкесова «Иннокентия X», сделанная Стревом в Риме, и множество его собственных картин, повешенных так, чтобы производить наибольший эффект, тоже в великолепных рамах. Стрев всегда очень гордился своим вкусом. Он страстно любил романтическую атмосферу мастерской художника, и хотя сейчас вид всех этих вещей был ему как нож в сердце, он машинально чуть-чуть передвинул столик Louis XV, принадлежавший к лучшим его сокровищам. Вдруг он заметил холст, повернутый лицом к стене и по размерам больший, чем те холсты, которыми он обычно пользовался. Дирк подошел и повернул его. На холсте была изображена нагая женщина. Сердце его учащенно забилось, он мигом понял, что это работа Стрикленда. Он отшвырнул картину – какого черта Стрикленд ее здесь оставил? – но от его резкого движения она упала на пол лицом вниз. Неважно, чья это работа. Дирк все равно не мог оставить ее валяться в пыли и поднял, но тут его одолело любопытство. Чтобы получше рассмотреть картину, он поставил ее на мольберт и отошел на несколько шагов.

У него сперло дыхание. Картина изображала женщину, лежавшую на диване; одна рука ее была закинута за голову, другая спокойно лежала вдоль тела; одно колено чуть согнуто, другая нога вытянута. Классическая поза. Все поплыло перед глазами Стрева. Это была Бланш. Отчаяние, ревность и ярость душили его, он стал громко кричать что-то нечленораздельное; сжимал кулаки и грозил невидимому врагу. Потом опять кричал не своим голосом. Он был вне себя. Это было уж слишком, этого он снести не мог. Он стал оглядываться по сторонам, ища, чем бы искромсать, изрезать картину, уничтожить ее сию же минуту, но ничего подходящего ему под руку не попадалось; он рылся в своих инструментах, и тоже тщетно, он сходил с ума. Наконец он нашел то, что искал, большой шпатель, и с ликующим криком схватил его. Размахивая им, словно кинжалом, он ринулся к картине.

Рассказывая, Стрев снова пришел в неопишное волнение и, схватив подвернувшийся под руку столовый нож, взмахнул им. Потом занес руку, как для удара, но тотчас разжал ее, и нож со стуком упал на пол. Стрев посмотрел на меня с виноватой улыбкой и замолчал.

– Продолжай, – сказал я.

– Не знаю, что на меня нашло. Я уже совсем собирался продырявить картину, как вдруг я увидел ее.

– Кого ее?

– Картину. Это было подлинное произведение искусства. Я не мог к ней прикоснуться. Я испугался.

Он опять замолчал и смотрел на меня с открытым ртом, его голубые глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

– Это была удивительная, дивная картина. Меня охватил благоговейный трепет. Еще секунда – и я бы совершил ужаснейшее преступление. Я хотел получше разглядеть ее и споткнулся о шпатель. Ужасно!

В какой-то мере я заразился волнением Стрева. Странное действие произвел на меня его рассказ. Мне вдруг почудилось, что я перенесся в мир, где смещены все ценности, и я

стоял недоумевающий, словно чужеземец, в стране, где люди совсем по-иному, совсем непривычно реагируют на самые простые явления. Стрев пытался рассказывать мне о картине, но речь его была бессвязна, и мне приходилось догадываться, что он имеет в виду. Стрикленд разорвал пути, связывавшие его. Он нашел не себя, как принято говорить, но свою новую душу, насыщенную силами, о которых никто не подозревал. Это было не только дерзкое упрощение линий, которое так полно и неповторимо выявляло личность художника, не только живопись, хотя тело было написано с такой проникновенной чувственностью, которая уже граничила с чудом; это было не только торжество плоти, хотя вы реально ощущали вес этого распростертого тела; нет, стриклендова картина была пронизана духовностью, по-новому понятым трагизмом, который вел воображение по неведомым тропам в пустынные просторы, где прорезают мглу только вечные звезды и где душа, сбросив все покровы, трепетно приступает к разгадкам новых тайн.

Я впал в риторику, потому что и Стрев был риторичен. (Кто не знает, что в волнении человек выражается, словно герой романа.) Он пытался выразить чувства, ранее ему незнакомые, не смог втиснуть их в будничные слова и уподобился мистика, который тщится описать несказанное. Одно только стало мне ясно из его речей: люди говорят о красоте беззаботно, они употребляют это слово так небрежно, что оно теряет свою силу, и предмет, который оно должно осмыслить, деля свое имя с тысячью пошлых понятий, оказывается лишенным своего величия. Словом «прекрасное» люди обозначают платье, собаку, проповедь, а очутившись лицом к лицу с Прекрасным, не умеют его распознать. Они стараются фальшивым пафосом прикрыть свои ничтожные мысли, и это притупляет их восприимчивость. Подобно шарлатану, фальсифицирующему тот подъем духа, который он некогда чувствовал в себе, они злоупотребляют своими душевными силами и утрачивают их. Но Стрев, этот вечный шут с искренней и честной душой, также искренне и честно любил и понимал искусство. Для него искусство значило то же, что значит бог для верующего, и когда он видел его, ему делалось страшно.

– Что ж ты сказал Стрикленду, когда встретился с ним?

– Предложил ему поехать со мною в Голландию.

Я опешил и с дурацким видом уставился на Стреву.

– Мы оба любили Бланш. В доме моей матери для него нашлась бы комнатка. Мне казалось, что соседство простых бедных людей принесет успокоение его душе. И еще я думал, что он научится у них многим полезным вещам.

– Что же он сказал?

– Улыбнулся и, кажется, подумал, что я дурак. А потом заявил, что «ерундить» ему неохота.

Я бы предпочел, чтоб Стрикленд сформулировал свой отказ в других выражениях.

– Он отдал мне портрет Бланш.

Я удивился, зачем Стрикленд это сделал, но не сказал ни слова. Мы оба довольно долго молчали.

– А как ты распорядился своими вещами? – спросил я наконец.

– Позвал еврея-скупщика, и он неплохо заплатил мне на круг. Картины я увезу с собой. Кроме них, у меня сейчас ничего не осталось, разве что чемодан с одеждой да несколько книг.

– Хорошо, что ты едешь домой.

Я понимал, что единственное спасение для него – порвать с прошлым. Быть может, его горе, сейчас еще нестерпимое, со временем уляжется и благодатное забвение поможет ему сызнова взвалить на себя бремя жизни. Он молод и через несколько лет с грустью, не лишенной известной сладости, будет вспоминать о своем несчастье. Раньше или позже он женится на доброй голландке и будет счастлив. Я улыбнулся при мысли о бесчисленном множестве плохих картин, которые он успеет написать до конца своей жизни.

На следующий день я проводил его в Амстердам.

Занятый своими собственными делами, я целый месяц не встречал никого, кто бы мог напомнить мне об этой прискорбной истории, и постепенно она выветрилась у меня из головы. Но в один прекрасный день, когда я спешил куда-то, на улице со мною поравнялся Стрикленд. Вид его напомнил мне об ужасе, который я так охотно забыл, и я внезапно почувствовал отвращение к виновнику всего этого. Кивнув ему – не поклониться было бы ребячеством, – я ускорил шаг, но через минуту почувствовал, что меня трогают за плечо.

– Вы очень торопитесь? – добродушно осведомился Стрикленд.

Характерная его черта: он сердечно обходился с теми, кто не желал с ним встречаться, а мой холодный кивок не оставлял в том ни малейшего сомнения.

– Да, – сухо ответил я.

– Я немного провожу вас, – сказал он.

– Зачем?

– Чтобы насладиться вашим обществом.

Я смолчал, и он тоже молча пошел рядом со мною. Так мы шли, наверное, с четверть мили. Положение становилось комическим. Но мы как раз оказались возле магазина канцелярских товаров, и я решил: может же мне понадобится бумага. Это был хороший предлог, чтобы отделаться от него.

– Мне сюда, – сказал я, – всего хорошего.

– Я вас подожду.

Я пожал плечами и вошел в магазин. Но тут же подумал, что французская бумага никуда не годится и что, раз уж моя хитрость не удалась, не стоит покупать ненужные вещи. Я спросил что-то, чего мне заведомо не могли дать, и вышел на улицу.

– Ну как, купили то, что хотели?

– Нет.

Мы опять молча зашагали вперед и вышли на площадь, в которую вливалось несколько улиц. Я остановился и спросил:

– Вам куда?

– Туда, куда и вам, – улыбнулся он.

– Я иду домой.

– Я зайду к вам выкурить трубку.

– По-моему, вам следовало бы подождать приглашения, – холодно отвечал я.

– Конечно, будь у меня надежда получить его.

– Видите вы вон ту стену? – спросил я.

– Вижу.

– В таком случае, я полагаю, вы должны видеть и то, что я не желаю вашего общества.

– Признаюсь, я уже подозревал это.

Я не выдержал и фыркнул. Беда моя в том, что я не умею ненавидеть людей, которые заставляют меня смеяться. Но я тут же взял себя в руки.

– Вы гнусный тип. Более мерзкой скотины я, по счастью, в жизни еще не встречал. Зачем вам нужен человек, который не терпит и презирает вас?

– А почему вы, голубчик мой, полагаете, что я интересуюсь вашим мнением обо мне?

– Черт возьми, – сказал я злобно, ибо у меня уже мелькнула мысль, что доводы, которые я привел, не делают мне чести, – я просто вас знать не желаю.

– Боитесь, как бы я вас не испортил?

Откровенно говоря, я почувствовал себя смешным. Он искоса смотрел на меня с сардонической улыбкой, и мне под этим взглядом стало не по себе.

– Вам, видно, сейчас туго приходится, – нахально заметил я.

– Я был бы отъявленным болваном, если бы надеялся взять у вас взаймы.

– Видно, здорово вас скрутило, если уж вы начинаете льстить.

Он осклабился:

– А все равно я вам нравлюсь, потому что нет-нет да и даю вам повод состричь.

Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Он высказал роковую истину. Мне нравятся люди пусть дурные, но которые за словом в карман не лезут. Я уже ясно почувствовал, что только усилием воли могу поддерживать в себе ненависть к Стрикленду. Я сокрушался о своей моральной неустойчивости, но знал, что мое порицание Стрикленда смахивает на позу, и уж если я это знал, то он, со своим безошибочным чутьем, знал и подавно. Конечно, он подсмеивался надо мной. Я не стал возражать ему и попытался спасти свое достоинство гробовым молчанием и пожатием плеч.

## 41

Мы подошли к дому, в котором я жил. Я не просил его войти и стал молча подниматься по лестнице. Он шел за мной по пятам. Он был у меня в первый раз, но даже не взглянул на убранство комнаты, хотя я потратил немало труда на то, чтобы сделать ее приятной для глаз. На столе стояла коробка с табаком, он тотчас же набил свою трубку и сел не в одно из удобных кресел, а на единственный стул, да и то боком.

– Если вы уж решили устраиваться здесь как дома, почему бы вам не сесть в кресло? – раздраженно спросил я.

– А почему вы так заботитесь о моем удобстве?

– Не о вашем, а о своем. Когда кто-нибудь сидит на неудобном стуле, мне самому становится неудобно.

Он фыркнул, но не двинулся с места и молча продолжал курить, не замечая меня, и, видимо, погруженный в свои мысли. Я недоумевал, зачем он пришел сюда.

Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности, сам робеет перед инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к странностям человеческой натуры, что он не в состоянии осудить их и от них отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем, честность заставляет его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки, сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и наделил логически развитым и завершенным характером, влечет его наперекор требованиям законности и порядка. По-моему, Шекспир придумывал Яго с большим вкусом, нежели Дездемону, точно сотканную из лунного света. Возможно, что создавая образы мошенников и негодяев, писатель стремится удовлетворить инстинкты, заложенные в нем природой, но обычаями и законами цивилизованного мира оттесненные в таинственную область подсознательного. Облекая в плоть и кровь создания своей фантазии, он тем самым как бы дарует отдельную жизнь той части своего «я», которая иначе не может себя выразить. Его радость – это радость освобождения. Писатель скорее призван знать, чем судить.

Стрикленд внушал мне неподдельный ужас и наряду с этим холодное любопытство. Он меня озадачивал, и в то же время я жаждал узнать мотивы его поступков, а также отношение к трагедии, которую он навязал людям, приютившим и пригревшим его. И я смело вонзил скальпель.

– Стрев сказал мне, что картина, которую вы писали с его жены, – лучшая из всех ваших работ.

Стрикленд вынул трубку изо рта, в глазах его промелькнула улыбка.

– Да, писать ее было забавно.

– Почему вы отдали ему картину?

– Я ее закончил, так на что она мне?

– Вы знаете, что Стрев едва ее не загубил?

– Она мне не слишком удалась.

Он помолчал, затем вынул трубку изо рта и усмехнулся.

– А вы знаете, что этот пузан приходил ко мне?

– Неужто вас не тронуло то, что он вам предложил?

- Нет. По-моему, это было глупо и сентиментально.
- Вы, видимо, забыли, что разрушили его жизнь, – сказал я.  
Он в задумчивости теребил свою бороду.
- Он очень плохой художник.
- Но очень хороший человек.
- И отличный повар, – насмешливо присовокупил Стрикленд.  
В его бездушии было что-то нечеловеческое, и я отнюдь не собирался деликатничать с ним.
- А скажите, я спрашиваю из чистого любопытства, чувствовали вы хоть малейшие угрызения совести после смерти Бланш Стрев?
- Я внимательно следил за выражением его лица, но оно оставалось бесстрастным.
- Чего мне, собственно, угрызаться?
- Сейчас я приведу вам ряд фактов. Вы умирали, и Дирк Стрев перевез вас к себе. Он ходил за вами, как родная мать. Принес вам в жертву свое время, удобства, деньги. Он вырвал вас из когтей смерти.
- Стрикленд пожал плечами.
- Бедняга обожает делать что-нибудь для других. В этом его жизнь.
- Предположим, что вы не были обязаны ему благодарностью, но разве вы были обязаны уводить от него жену? До вашего появления они были счастливы. Почему вы не могли оставить их в покое?
- А почему вы думаете, что они были счастливы?
- Это было очевидно.
- До чего же у вас проницательный ум! По-вашему, она была в состоянии простить ему то, что он для нее сделал?
- Что вы хотите сказать?
- Известно вам, как он на ней женился?
- Я покачал головой.
- Она была гувернанткой в семье какого-то римского князя, и сын хозяина совратил ее. Она думала, что он на ней женится, а ее выгнали на улицу. Она была беременна и пыталась покончить с собой. Стрев ее подобрал и женился на ней.
- Вполне в его духе. Я в жизни не видывал человека с таким мягким сердцем.
- Я нередко удивлялся, что могло соединить этих столь несхожих людей, но подобное объяснение мне никогда в голову не приходило. Так вот причина необычной любви Дирка к жене. В его отношении к ней было нечто большее, чем страсть. И, помнится, в ее сдержанности мне всегда чудилось что-то такое, чему я не мог подыскать определения; только сейчас я понял: это было не просто желание скрыть позорную тайну. Ее спокойствие напоминало затишье, воцарившееся на острове, над которым пронесся ураган. Ее веселость была веселостью отчаяния. Стрикленд вывел меня из задумчивости замечанием, поразительным по своему цинизму.
- Женщина может простить мужчине зло, которое он причинил ей, но жертв, которые он ей принес, она не прощает.
- Зато вам не грозит опасность остаться непрощенным.
- Чуть заметная улыбка тронула его губы.
- Вы всегда готовы пожертвовать своими принципами ради красного словца, – сказал он.
- Что же случилось с ребенком?
- Ребенок родился мертвым три или четыре месяца спустя после их женитьбы. Тут я спросил о том, что всегда было для меня самым непонятным.
- А почему, скажите на милость, вы заинтересовались Бланш Стрев?
- Он не отвечал так долго, что я уже собирался повторить свой вопрос.
- Откуда я знаю? – проговорил он наконец. – Она меня терпеть не могла. Это было забавно.

– Понимаю.

Стрикленд вдруг разозлился.

– Черт подери, я ее хотел.

Но он тут же овладел собой и с улыбкой взглянул на меня.

– Сначала она была в ужасе.

– Вы ей сказали?

– Зачем? Она и так знала. Я ей слова не говорил. Она меня боялась. В конце концов я взял ее.

По тому, как он это сказал, я понял, до чего неистово было его желание. И невольно содрогнулся. Вся жизнь этого человека была беспощадным отрешением от материального, и, видимо, тело временами жестоко мстило духу. И в случае с Бланш сатир возобладал в нем, и, беспомощный в тисках инстинкта, могучего, как первобытные силы природы, он уже не мог противиться своему влечению, ибо в душе его не осталось места ни для благоразумия, ни для благодарности.

– Но зачем вам вздумалось уводить ее от мужа? – поинтересовался я.

– Я этого не хотел, – отвечал он, нахмурясь. – Когда она сказала, что уйдет со мной, я удивился не меньше Стрева. Я ей сказал, что, когда она мне надоест, ей придется собирать свои манатки, и она ответила, что идет на это. – Он сделал паузу. – У нее было дивное тело, а мне хотелось писать обнаженную натуру. После того как я закончил портрет, она уже меня не интересовала.

– А ведь она всем сердцем любила вас.

Он вскочил и зашагал по комнате.

– Я в любви не нуждаюсь. У меня на нее нет времени. Любовь – это слабость. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе. Женщины ничего не умеют, только любить, любви они придают бог знает какое значение. Им хочется уверить нас, что любовь – главное в жизни. Но любовь – это малость. Я знаю вожделиние. Оно естественно и здорово, а любовь – это болезнь. Женщины существуют для моего удовольствия, но я не терплю их дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами.

Я никогда не слышал, чтобы Стрикленд подряд говорил так много и с таким страстным негодованием. Но, впрочем, я сейчас, как и раньше, не пытаюсь воспроизвести точные его слова; лексикон его был беден, дар красноречия у него начисто отсутствовал, так что его мысли приходилось конструировать из междометий, выражения лица, жестов и отрывочных восклицаний.

– Вам бы жить в эпоху, когда женщины были рабынями, а мужчины рабовладельцами, – сказал я.

– Да, я просто нормальный мужчина.

Невозможно было не рассмеяться этому замечанию, сделанному с полной серьезностью; но он, шагая из угла в угол, точно зверь в клетке, все силился хоть относительно связно выразить то, что было у него на душе.

Если женщина любит вас, она не уgomонится, пока не завладеет вашей душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия. На меньшее она не согласна. Так как умишко у нее с куриный носок, то абстрактное для нее непостижимо, и она его ненавидит. Она занята житейскими мелочами, все идеальное вызывает ее ревность. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы мироздания, а она старается втиснуть ее в приходорасходную книжку. Помните мою жену? Бланш очень скоро пустилась на те же штуки. С потрясающим терпением готовилась она заарканить и связать меня. Ей надо было низвести меня до своего уровня; она обо мне ничего знать не хотела, хотела только, чтобы я целиком принадлежал ей. И ведь готова была исполнить любое мое желание, кроме одного – отвязаться от меня.

Я довольно долго молчал.

– А как, по-вашему, что она должна была сделать после того, как вы ее бросили?  
– Она могла вернуться к Стреву, – сердито отвечал он. – Стрев готов был принять ее.  
– Возмутительное рассуждение, – отвечал я. – Впрочем, толковать с вами о таких вещах – все равно что расписывать красоту заката слепорожденному.

Он остановился и посмотрел мне в лицо с презрительным недоумением.

– Неужто вам и вправду не все равно, жива или умерла Бланш Стрев?

Я задумался, ибо во что бы то ни стало хотел честно ответить на этот вопрос.

– Наверное, я черствый человек, потому что ее смерть не слишком меня огорчает. Жизнь сулила ей много хорошего. И ужасно, что все это с такой бессмысленной жестокостью отнято у нее, что же касается меня, то, к стыду моему, ее трагедия оставляет меня сравнительно спокойным.

– Взгляды у вас смелые, а отстаивать их смелости не хватает. Жизнь не имеет цены. Бланш Стрев покончила с собой не потому, что я бросил ее, а потому, что она была женщина вздорная и неуравновешенная. Но хватит говорить о ней, не такая уж она важная персона. Пойдемте, я покажу вам свои картины.

Он говорил со мной как с ребенком, внимание которого надо отвлечь. Я был зол, но больше на себя, чем на него. Мне все вспоминалась счастливая жизнь четы Стрев в уютной мастерской на Монмартре, их отзывчивость, доброта и гостеприимство. Жестоко, что безжалостный случай все это разрушил. Но самое жестокое – что ничего не изменилось. Жизнь шла своим чередом, и мимолетное несчастье ни в чьем сердце не оставило следа. Я думал, что Дирк, человек скорее пылких, чем глубоких чувств, скоро позабудет свое горе, но Бланш... один бог знает, какие радужные грезы посещали ее в юности, Бланш – зачем она жила на свете? Все это было так бессмысленно и глупо.

Стрикленд отыскал свою шляпу и стоял, выжидательно глядя на меня.

– Вы идете?

– Почему вы держитесь за знакомство со мною? – спросил я. – Вы же знаете, что я ненавижу и презираю вас.

Он добродушно ухмыльнулся.

– Вы злитесь только из-за того, что мне наплевать, какого вы обо мне мнения.

Я почувствовал, как кровь прилила у меня к лицу от гнева. Нет, этот человек не в состоянии понять, что его безжалостный эгоизм вызывает ненависть. Я жаждал пробить броню этого полнейшего безразличия. Но, увы, зерно истины все-таки было в его словах. Ведь мы, скорей всего бессознательно, свою власть над другими измеряем тем, как они относятся к нашему мнению о них, и начинаем ненавидеть тех, которые не поддаются нашему влиянию. Для человеческой гордости нет обиды жесточе. Но я не хотел показать, что слова Стрикленда меня задел.

– Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми? – спросил я не столько его, сколько самого себя. – Человек в каждой мелочи зависит от других. Попытка жить только собою и для себя заведомо обречена на неудачу. Рано или поздно старым, усталым и больным вы приползете обратно в стадо. И когда ваше сердце будет жаждать покоя и сочувствия, вам станет стыдно. Вы ищете невозможного. Повторяю, рано или поздно человек в вас затоскует по узам, связывающим его с человечеством.

– Пойдемте смотреть мои картины.

– Вы когда-нибудь думаете о смерти?

– Зачем? Она того не стоит.

Я смотрел на него в удивлении. Он стоял передо мной неподвижно, в глазах его мелькнула насмешка, и, несмотря на все это, я вдруг прозрел в нем пламенный, мученический дух, устремленный к цели более высокой, чем все то, что сковано плотью. На мгновение я стал свидетелем поисков неизреченного. Я смотрел на этого человека в обшарпанном костюме, с большим носом, горящими глазами, с рыжей бородой и всклокоченными волосами и, странным образом, видел перед собою не эту оболочку, а бесплотный дух.

– Что ж, пойдем посмотрим ваши картины, – сказал я.



## 42

Не знаю, почему Стрикленду вдруг вздумалось показать их мне. Но я очень обрадовался. Человек открывается в своих трудах. В светском общении он показывает себя таким, каким хочет казаться, и правильно судить о нем вы можете лишь по мелким и бессознательным его поступкам да произвольно меняющемуся выражению лица. Присвоивши себе ту или иную маску, человек со временем так привыкает к ней, что и вправду становится тем, чем сначала хотел казаться. Но в своей книге или в своей картине он наг и незащищен. Его претензии только подчеркивают его пустоту. Деревяшка и есть деревяшка. Никакими потугами на оригинальность не скрыть посредственности. Зоркий ценитель даже в эскизе усматривает сокровенные душевные глубины художника, его создавшего.

Не скрою, что я волновался, взбираясь по нескончаемой лестнице в мансарду Стрикленда. Мне чудилось, что я на пороге удивительного открытия. Войдя наконец в его комнату, я с любопытством огляделся. Она показалась мне меньше и голее, чем прежде. «Интересно, – подумал я, – что сказали бы о ней мои знакомые художники, работающие в огромных мастерских и убежденные, что они не могут творить, если окружающая обстановка им не по вкусу».

– Станьте вон там. – Стрикленд показал мне точку, с которой, как он считал, картины представляли в наиболее выгодном освещении.

– Вы, наверно, предпочитаете, чтобы я молчал? – осведомился я.

– Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык.

Он ставил картину на мольберт, давал мне посмотреть на нее минуты две, затем снимал и ставил другую. Он показал мне, наверно, холстов тридцать. Это были плоды его работы за шесть лет, то есть с тех пор, как он начал писать. Он не продал ни одной картины. Холсты были разной величины. Меньшие – натюрморты, покрупнее – пейзажи. Было у него штук шесть портретов.

– Вот и все, – объявил он наконец.

Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу распознал их красоту и необычайное своеобразие. Теперь когда я снова видел многие из них, а с другими ознакомился по репродукциям, я не могу не удивляться, что с первого взгляда испытал горькое разочарование. Нервная дрожь – воздействие подлинного искусства – не потрясла меня. Картины Стрикленда привели меня в замешательство, и я не могу простить себе, что мне даже в голову не пришло купить хотя бы одну из них. Я упустил счастливый случай. Большинство их попало в музеи, остальные украшают коллекции богатых меценатов. Я стараюсь подыскать для себя оправдание. Мне все-таки кажется, что у меня хороший вкус, только ему недостает оригинальности. В живописи я мало что смыслю и всегда иду по дорожке, проложенной для меня другими. В ту пору я преклонялся перед импрессионистами. Я мечтал приобрести творения Сислея и Дега и приходил в восторг от Манэ. Его «Олимпия» казалась мне шедевром новейших времен, а «Завтрак на траве» трогал меня до глубины души. Я воображал, что эти произведения – последнее слово в живописи.

Не буду описывать картины, которые показывал мне Стрикленд. Такие описания всегда наводят скуку, а кроме того, его картины знакомы решительно всем, кто интересуется живописью. Теперь, после того как искусство Стрикленда оказало столь грандиозное воздействие на современную живопись и неведомая область, в которую он проник одним из первых, уже, так сказать, нанесена на карту, всякий, впервые видящий его картину, внутренне подготовлен к ней, я же никогда ничего подобного не видел. Прежде всего я был поражен тем, что мне показалось топорной техникой. Привыкнув к рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был величайшим рисовальщиком нового времени, я решил, что Стрикленд рисует из рук вон плохо. О том, что упрощение – его цель, я не догадывался. Помню, как меня раздражало, что круглое блюдо в одном из натюрмортов было неправильной формы и на нем лежали кособокие апельсины. Лица на портретах он делал больше

натуральной величины, и это производило отталкивающее впечатление. Я воспринимал их как карикатуры. Написаны они были в совершенно новой для меня манере. Пейзажи еще сильнее меня озадачили. Два или три из них изображали лес в Фонтенбло, остальные – улицы Парижа; на первый взгляд они казались нарисованными пьяным извозчиком. Я просто ошалел. Нестерпимо кричащие краски, и все в целом какой-то дурацкий, непонятный фарс. Вспоминая об этом, я еще больше поражаюсь чутью Стрева. Он с первого взгляда понял, что здесь речь шла о революции в искусстве, и почти еще в зародыше признал гения, перед которым позднее преклонился весь мир.

Растерянный и сбитый с толку, я тем не менее был потрясен. Даже при моем колоссальном невежестве я почувствовал, что здесь тщится проявить себя великая сила. Все мое существо пришло в волнение. Я ясно ощущал, что эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я еще не знал. Они казались мне уродливыми, но в них была какая-то великая и нераскрытая тайна, что-то странно дразнящее и волнующее. Чувства, которые они во мне возбуждали, я не умел проанализировать: слова тут были бессильны. Мне начинало казаться, что Стрикленд в материальных вещах смутно провидел какую-то духовную сущность, сущность до того необычную, что он мог лишь в неясных символах намекать о ней. Точно среди хаоса вселенной он отыскал новую форму и в безмерной душевной тоске неумело пытался ее воссоздать. Я видел мученический дух, алчущий выразить себя и таким образом найти освобождение.

Я обернулся к Стрикленду.

– Мне кажется, вы избрали неправильный способ выражения.

– Что за околесицу вы несете?

– Вы, видимо, стараетесь что-то сказать – что именно, я не знаю, но сомневаюсь, можно ли это высказать средствами живописи.

Я ошибся, полагая, что картины Стрикленда дадут мне ключ к пониманию его странной личности. На деле они только заставили меня еще больше ему удивляться. Теперь я уже вовсе ничего не понимал. Единственное, что мне уяснилось, – но, может быть, и это была игра воображения, – что он жаждал освободиться от какой-то силы, завладевшей им. А какая это была сила и что значило освобождение от нее, оставалось туманным. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их, и потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка; им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи одна интересней другой, а сказать эти люди могут разве что: «Тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик».

Итак, основное, что я вынес из картин Стрикленда, – невероятное усилие выразить какое-то состояние души; в этом усилии, думал я, и следует искать объяснения тому, что так меня поразило. Краски и формы, несомненно, имели для Стрикленда значение, ему самому не вполне понятное. Он испытывал неодолимую потребность выразить то, что чувствовал, и единственно с этой целью создавал цвет и форму. Он, не колеблясь, упрощал, даже извращал и цвет, и форму, если это приближало его к тому неведомому, что он искал. Факты ничего не значили для него, ибо под грудой пустых случайностей он видел лишь то, что считал важным. Казалось, он познал душу вселенной и обязан был выразить ее. Пусть эти картины с первого взгляда смущали и озадачивали, но и волновали они до глубины души. И вот, сам не знаю отчего, я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к Стрикленду.

– Теперь я, кажется, знаю, почему вы поддались своему чувству к Бланш Стрев, – сказал я.

– Почему?

– Мужество покинуло вас. Ваша телесная слабость сообщилась вашей душе. Я не знаю, какая тоска грызет вас, толкает вас на опасные одинокие поиски того, что должно изгнать демона, терзающего вашу душу. По-моему, вы вечный странник, стремящийся поклониться святыне, которой, возможно, и не существует. К какой непостижимой нирване вы стремитесь? Я не знаю. Да и вы, вероятно, не знаете. Может быть, вы ищете Правды и Свободы, и на мгновение вам почудилось, что любовь принесет вам возжеленное освобождение? Ваш утомленный дух искал, думается мне, покоя в объятиях женщины, но, не найдя его, вы эту женщину возненавидели. Вы были к ней беспощадны, потому что вы беспощадны к самому себе. Вы убили ее из страха, так как все еще дрожали перед опасностью, которой только что избегли.

Он холодно улыбнулся и потерял свою бороду.

– Ну и сентиментальны же вы, дружище.

Через неделю я случайно услышал, что Стрикленд отправился в Марсель. Больше я никогда его не видел.

### 43

То, что я написал о Стрикленде, конечно, никого удовлетворить не может, задним числом я вполне отдаю себе в этом отчет. Я пересказал кое-какие события, совершившиеся на моих глазах, но они остались темными, ибо я не знаю первопричин этих событий. Самое странное из случившегося – решение Стрикленда стать художником – в моем пересказе выглядит простой причудой; между тем он, разумеется, неспроста принял такое решение, хотя что именно его на это толкнуло, я не знаю. Из собственных его слов мне ничего не уяснилось. Если бы я писал роман, а не просто перечислял известные мне факты из жизни незаурядного человека, я бы придумал уйму всевозможных объяснений для этого душевного переворота. Наверно, я рассказал бы о неудержимом влечении Стрикленда к живописи, в детстве подавленном волей отца или же принесенном в жертву необходимости зарабатывать свой хлеб; я бы изобразил, как гневно он относился к требованиям жизни; обрисовав борьбу между его страстью к искусству и профессией биржевого маклера, я бы мог даже привлечь на его сторону симпатии читателя. Я сделал бы из него весьма внушительную фигуру. Возможно, что кто-нибудь даже увидел бы в нем нового Прометея, и оказалось бы, что я создал современную версию о герое во имя блага человечества, обрекшего себя всем мукам прометеева проклятия. А это неизменно захватывающий сюжет.

С таким же успехом я мог бы сыскать мотивы его поступка в семейной жизни. Тут к моим услугам имелся бы добрый десяток вариантов. Например, скрытый дар пробивается наружу благодаря знакомству с писателями и художниками, в обществе которых вращается его жена; или: неудовлетворенный семейным кругом, он углубляется в себя; и еще: любовная история раздувает в пламя маленький огонек, который, в моем изображении, сначала бы едва-едва тлел в его душе. В таком случае миссис Стрикленд мне, вероятно, пришлось бы обрисовать совсем по-другому. Не церемонясь с фактами, я бы сделал ее брюзгливой, надоедливой женщиной или ханжой, не понимающей духовных запросов мужа. Брак их я бы изобразил как нескончаемую цепь мучений, разорвать которую можно только бегством. Я бы, наверно, расписал яркими красками его терпеливое отношение к душевно чуждой ему жене и жалость, которая долго не позволяла ему сбросить тяжелое ярмо. О детях, пожалуй, упоминать бы и вовсе не следовало.

Не менее эффектно было бы свести Стрикленда со стариком художником, которого либо нужда, либо жажда наживы некогда заставили отказаться от своего призвания. Видя в Стрикленде возможности, им самим некогда упущенные, старик уговаривает его покончить с прежней жизнью и всецело предаться священной тирании искусства. Этот старый человек, добившийся богатства и высокого положения в свете, который пытается в другом пережить все, на что у него самого не достало мужества, хотя он и сознавал, что искусство – это лучшая доля, должен быть дан слегка иронически.

Факты куда менее значительны. Стрикленд прямо со школьной скамьи поступил в контору биржевого маклера, не испытывая при этом никаких моральных терзаний. До женитьбы он жил, как все молодые люди его круга; понемножку играл на бирже во время Дерби или Оксфордских и Кембриджских игр, случалось, терял два-три соверена. В свободное время он занимался боксом, а на камине у него стояла фотография миссис Ланггри и Мери Андерсон. Он читал «Панч» и «Спортинг таймс». Ходил на танцы в Гемпстед.

То, что я потерял Стрикленда из виду на довольно долгий срок, особого значения не имеет. Годы, которые он провел в борьбе за овладение трудным искусством кисти, были достаточно однообразны, а то, чем ему приходилось заниматься, чтобы заработать себе на жизнь, вряд ли представляло хоть какой-нибудь интерес. Рассказывать об этом – значило бы рассказывать о событиях в жизни других людей. Да к тому же эти события не наложили отпечатка на характер Стрикленда. Он видел много сцен, которые могли бы послужить великолепным материалом для плутовского романа о современном Париже, но ничем этим не заинтересовался и, судя по его разговорам, не вынес ровно никаких впечатлений из своей парижской жизни. Возможно, что, приехав сюда, он был уже слишком стар и потому неподатлив колдовству большого города. Самое странное, что, вопреки всему этому, он казался мне не только практичным, но и сухо деловитым человеком. Жизнь его в те годы, несомненно, была полна романтики, но он не подозревал об этом. Для того чтобы почувствовать романтику, надо, вероятно, быть немного актером и уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими действиями с глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны. Стрикленд был абсолютно не способен на такое раздвоение. Я в жизни не встречал человека, менее занятого собой. К несчастью, я не могу описать тот тернистый путь, идя по которому, он сумел покорить себе свое искусство. Если бы я показал, как неустрашимо он переносил неудачи, как мужественно не поддавался отчаянию, как упорно вел борьбу с сомнением – заклятым врагом художника, я вызвал бы симпатию к человеку, который – я это понимаю – покажется весьма несимпатичным. Но мне тут не за что зацепиться. Я никогда не видел Стрикленда за работой, как, вероятно, никто не видел. Тайны своей борьбы он хранил про себя. Если в полном одиночестве своей мастерской он и единоборствовал с ангелом господним, то ни одна живая душа не знала о его страданиях.

Теперь, когда речь пойдет о его связи с Бланш Стрев, я с огорчением вижу, что в моем распоряжении нет ничего, кроме отрывочных, не связанных между собою фактов. Чтобы придать слитность своему рассказу, я должен был бы объяснить, как и почему их союз завершился трагедией, но я ничего не знаю об их жизни в течение этих трех месяцев. Не знаю, как они проводили время и о чем разговаривали. В сутках двадцать четыре часа, а вершины своей чувства достигает лишь в редкие минуты. Я могу только воображать, что они делали все остальные часы. Покуда было светло и Бланш еще не выбивалась из сил, он, вероятно, писал ее, а она сердилась, видя, как он углублен в работу. Она существовала для него только как модель, а не как любовница. Но затем оставались еще долгие часы, и они жили бок о бок в полном молчании. Ее это, наверно, пугало. Говоря, что своим уходом к нему Бланш как бы мстила Дирку Стреву, пришедшему ей на помощь в трагическую минуту жизни, Стрикленд давал повод ко многим страшным догадкам. Но я надеюсь, что он ошибся. Иначе это было бы слишком печально. Хотя кто может разобраться во всех мельчайших движениях человеческого сердца? Разумеется, не тот, кто ждет от него только благопристойных и нормальных чувств. Когда Бланш поняла, что несмотря на мгновения страсти, Стрикленд остается чужим ей, она, должно быть, впала в отчаяние, и тут, когда ей уяснилось, что она для него не личность, а только орудие наслаждения, она стала делать жалкие усилия, чтобы привязать его к себе. Она окружала его комфортом, не замечая, что комфорт ничего не значит для этого человека. Она изощрялась, готовя ему лакомые кушанья, и не замечала, что он совершенно равнодушен к еде. Она боялась оставить его одного, преследовала его своим вниманием и, когда его страсть утихала, старалась снова возбудить ее, ибо только в эти мгновения могла питать иллюзию, что он принадлежит ей. Возможно, она умом и понимала, что цепи, которыми она его опутывала, будили в нем только инстинкт разрушения – так, когда видишь

зеркальное стекло в окне, руки чешутся запустить в него камнем, – но ее сердце не внимало голосу разума, и она все шла по пути, который – тут она не заблуждалась – был для нее роковым. Должно быть, она была очень несчастна. Но слепая любовь заставила ее верить в то, во что ей хотелось верить, да и обожала она Стрикленда так, что ей казалось невозможным, чтобы он не платил ей любовью.

Беда в том, что мой рассказ о Стрикленде грешит большими недостатками, чем неполное знание фактов из его жизни. Я много написал о его отношениях с женщинами, потому что эти отношения очень бросались в глаза, а между тем им принадлежало весьма скромное место в его жизни. И право же, издевка судьбы, что для женщин, приближавшихся к нему, они оборачивались трагедией. По-настоящему его жизнь состояла из мечты и титанического труда.

Тут-то и начинается литературная неправда. Любовь, как правило, – только один из эпизодов в жизни человека, в романах же ей отводится первое место, и это не соответствует жизненной правде. Мало найдется мужчин, для которых любовь – самое важное на свете, и это по большей части неинтересные мужчины; их презирают даже женщины, для которых любовь превыше всего. Преклонение льстит женщинам, волнует их, и все же они не могут отделаться от чувства, что мужчины, все на свете забывающие из-за любви – убогие создания. Даже в краткие периоды, когда мужчина страстно любит, он занят еще и другими делами, отвлекающими его от любимой. Внимание одного сосредоточено на работе, которая дает ему средства к жизни; другой увлекается спортом «или искусством. Большинство мужчин развивает свою деятельность в различных областях; они способны всецело сосредоточиваться на том, что их в данную минуту занимает, и досадуют, если одно перебивает другое. В любви разница между мужчиной и женщиной в том, что женщина любит весь день напролет, а мужчина – только урывками.

В жизни Стрикленда желание занимало очень мало места. Для него оно было чем-то второстепенным и докучным. Душа его рвалась в иные пределы. Он знал буйную страсть, и желание временами терзало его плоть, требуя неистовых оргий чувственности, но он ненавидел этот инстинкт, отнимавший у него власть над самим собою. Мне кажется, Стрикленд ненавидел и ту, что должна была делить с ним вакханалию страсти. Овладев собою, он испытывал отвращение к женщине, которой только что наслаждался. Мысли его уносились в горние страны, и женщина внушала ему ужас, какой может внушить пестрокрылому мотыльку, порхающему с цветка на цветок, неприглядная куколка, из которой он, торжествуя, возник. Мне думается, искусство – это проявление полового инстинкта. Одно и то же чувство заставляет усиленно биться человеческое сердце при виде красивой женщины. Неаполитанского залива в лунном свете и тицианова «Положения во гроб». Вполне возможно, что Стрикленд ненавидел нормальное проявление полового инстинкта, оно казалось ему низким по сравнению со счастьем художественного творчества. Мне самому странно, что, описав человека жестокого, эгоистичного, грубого и чувственного, я в конце концов прихожу к выводу, что он был подлинным идеалистом. Но факты – упрямая вещь.

Он жил беднее любого батрака. И работал тяжелее, нимало не интересуясь тем, что большинство людей считают украшением жизни. К деньгам он был равнодушен, к славе тоже. Но не стоит воздавать ему хвалу за то, что он противостоял искушению и не шел ни на один из тех компромиссов с обществом, на которые мы все так охотно идем. Он не знал искушения. Ему ни разу даже не пришла на ум возможность компромисса. В Париже он жил более одиноко, чем отшельник в Фивейской пустыне. Он ничего не требовал от людей, разве чтобы они оставили его в покое. Стремясь к одной лишь цели, он для ее достижения готов был пожертвовать не только собою – на это способны многие, – но и другими. Он был визионер и одержимый.

Да, Стрикленд был плохой человек, но и великий тоже.

Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился к великим мастерам прошлого. Многого я, конечно, не знаю. Стрикленд был не слишком словоохотлив и то, что ему хотелось сказать, не умел облечь в точные слова, запоминающиеся слушателю. Он не был остроумен. Юмор его, как видно из предыдущего – конечно, если мне хоть в какой-то мере удалось воспроизвести его манеру говорить, – носил сардонический характер. Острил он грубо. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил правду, но этот вид юмора действителен только в силу своей необычности: если бы мы чаще слышали правду, никто бы не смеялся.

Стрикленд, я бы сказал, был от природы не слишком умен, и его взгляды на искусство не отличались оригинальностью. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о художниках, работы которых были в известной мере родственны его работам, например о Сезанне или Ван-Гоге; я даже не уверен, что он когда-нибудь видел их произведения. Импрессионистами он особенно не интересовался. Технику их он признавал, но я склонен думать, что импрессионистическая манера казалась ему пошлой; Однажды, когда Стрев на все лады прославлял Моне, он заметил: «Я предпочитаю Винтергальтера». Впрочем, он, вероятно, сказал это, чтобы позлить Стреву, и конечно, достиг цели.

Мне очень жаль, что я не могу привести какие-нибудь из ряда вон выдающиеся суждения Стрикленда о старых мастерах. В характере этого человека столько странностей, что возмутительные высказывания о старших собратях могли бы эффектно завершить его портрет. Мне бы очень хотелось навязать ему какие-нибудь фантастические теории относительно его предшественников, но, увы, я должен признаться, что его взгляды мало чем отличались от общепринятых. Я подозреваю, что он не знал Эль Греко, но к Веласкесу относился с каким-то нетерпеливым восторгом. Шарден его восхищал, а Рембрандт приводил в экстаз. Он говорил о впечатлении, которое на него производит Рембрандт, с такой откровенной грубостью, что я не решаюсь повторить его слова. Но вот что было уже совсем неожиданно, так это его живой интерес к Брейгелю-старшему. В то время я почти не знал этого художника, а Стрикленд не умел выражать свои мысли. Я запомнил то, что он говорил о нем, только потому, что это ровно ничего не объясняло.

– Этот настоящий, – заявил Стрикленд. – Бьюсь об заклад, что с него семь потов сошло, когда он писал.

Позднее, увидев в Вене картины Питера Брейгеля, я, кажется, понял, что в нем привлекало Стрикленда. Брейгелю тоже виделся какой-то особый мир, его самого удивлявший. Я тогда хотел написать о нем и сделал ряд заметок в своей записной книжке, но потом потерял ее, и в воспоминании у меня осталось только чувство, вызванное его картинами. Люди представлялись ему уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и комичны; жизнь – смешением комических и подлых поступков, достойных только смеха, но горько было ему над этим смеяться. Мне всегда казалось, что Брейгель средствами одного искусства тщится выразить то, что лучше поддалось бы выражению средствами другого, может быть, поэтому-то и смутно тянуло к нему Стрикленда. Видно, оба они хотели в живопись вложить идеи, бывшие более под стать литературе.

Стрикленду в то время было около сорока семи лет.

## 45

Выше я уже говорил, что, если бы не случайный мой приезд на Таити, я бы никогда не написал этой книги. Дело в том, что после долгих скитаний на Таити очутился Чарлз Стрикленд и там создал картины, на которых главным образом и зиждется его слава. Я думаю, что ни одному художнику не суждено полностью воплотить мечту, властвующую над ним, и Стрикленд, вконец измученный своей борьбой с техникой, сделал, быть может, меньше, чем другие, чтобы воплотить видение, вечно стоявшее перед его духовным взором, но на Таити обстоятельства ему благоприятствовали. В этом новом мирке он нашел много элементов,

необходимых для того, чтобы его вдохновение стало плодотворным. Последние картины Стрикленда уже дают некоторое представление о том, что он искал. Они являются какой-то новой и странной пищей для нашей фантазии. Словно в этом далеком крае дух его, до той поры бестелесно бродивший по свету в поисках приюта, обрел наконец плоть и кровь. Выражаясь тривиально, Стрикленд здесь нашел себя.

Казалось бы, что, приехав на этот отдаленный остров, я должен был немедленно вспомнить о Стрикленде, в свое время так сильно меня интересовавшем, но я весь ушел в работу, кроме нее ни о чем не думал и лишь несколько дней спустя вспомнил о том, что его имя связано с Таити. Впрочем, я видел его пятнадцать лет назад, и уже девять прошло с тех пор, как он умер. Кроме того, впечатления от Таити вытеснили из моей головы даже дела, я все еще не мог прийти в себя. Помнится, в первое утро я проснулся чуть свет и вышел на веранду отеля. Нигде ни живой души. Я отправился в кухню, но она была заперта, на скамейке возле двери спал мальчик-туземец. Надежду позавтракать пока что приходилось оставить, и я пошел вниз, к морю. Китайцы уже раскладывали товар в своих лавчонках. Предрассветное небо было бледно, и над лагуной стояла призрачная тишина. В десяти милях от берега высился остров Муреа, хранивший свою тайну, словно твердыня святого Грааля.

Я все еще не верил своим глазам. Дни, прошедшие со времени моего отплытия из Веллингтона, были так необычны, так непохожи на все другие дни. Веллингтон – чистенький, совсем английский городок, точь-в-точь такой, как все портовые городки Южной Англии. В море три дня бушевал шторм. Серые, рваные тучи тянулись по небу друг за дружкой. Затем ветер стих, море успокоилось, стало синим. Тихий океан пустынее других морей, просторы его кажутся безграничными, а самое заурядное плавание по нему отдает приключением. Воздух, который мы вдыхаем, это эликсир, подготавливающий к неожиданному и неизведанному.

Лишь раз в жизни дано смертному испытать чувство, что он вплывает в золотое царство фантазии, – когда взору его открываются берега Таити. Вы видите еще и соседний остров Муреа, каменное диво, таинственно вздымающееся среди водной пустыни. Со своими зубчатыми очертаниями он точно Монсерат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские рыцари свершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну. Красота этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся отчетливо видны восхитительные изломы его вершин, но он бережно хранит свою тайну и, стоит вам поравняться с ним, весь как бы съеживается, замыкается в скалистую, неприступную суровость. И если б он исчез, куда вы ищите проход между рифами, и перед вами простерлась бы лишь синяя пустыня океана, то и в этом, кажется, не было бы ничего удивительного.

Таити – высокий зеленый остров, с полосами более темной зелени, в которых вы углубаете молчаливые долины; в их темной таинственной глубине журчат и плещутся студеные потоки, и чувствуешь, что жизнь в этих тенистых долах с незапамятных времен шла по одним и тем же незапамятным путям. В таком чувстве есть печаль и страх. Но это мимолетное впечатление лишь обостряет радость минуты. Так на миг промелькнет печаль в глазах шутника, когда веселые сотрапезники до упаду смеются над его островами, – рот его улыбается, шутки становятся веселее, но одиночество его еще нестерпимее. Таити улыбается, приветствуя вас; этот остров – как обворожительная женщина, что расточает свою прелесть и красоту, и нет на свете ничего милее гавани Папэте. Шхуны, стоящие на якоре у причала, сияют чистотой, городок, что тянется вдоль бухты, бел и наряден, а тамаринды, полыхающие под синью неба, яростны, словно крик страсти. Дух захватывает от того, как они чувственны в своем бесстыдном неистовстве. Встречать пароход на пристань высыпает веселая, жизнерадостная толпа; она шумит, радуется, жестикулирует. Это море коричневых лиц. Точно все цвета радуги волнуются и колышутся здесь под лазурным, блистающим небом. Суматоха все время отчаянная – при разгрузке багажа, при таможенном досмотре, и кажется, что все улыбаются вам. Солнце печет нестерпимо. Пестрота ослепляет.

В первые же дни моего пребывания на Таити я свел знакомство с капитаном Николсом. Однажды утром, когда я завтракал на веранде, он вошел и представился мне. Прислышав, что я интересуюсь Чарлзом Стриклендом, капитан Николс явился поговорить со мной. На Таити судачат не хуже, чем в английской деревне, и слух о том, что я раза два или три спросил относительно картин Стрикленда, распространился с молниеносной быстротой. Я поинтересовался, завтракал ли капитан.

– Да, – отвечал он, – я рано пью кофе, но от глоточка виски не откажусь.

Я кликнул боя-китайца.

– А может, не стоит пить спозаранку? – сказал капитан.

– Ну, это уж вы спрашивайте вашу печень, – отвечал я.

– Собственно, я трезвенник, – заметил капитан, наливая себе добрых полстакана канадского виски.

Смеясь, он показывал желтые поломанные зубы. Капитан был очень худой человек, среднего роста, с седой шевелюрой и седыми топорщившимися усами. Он явно не брился уже два дня. Лицо его, коричневое от постоянного пребывания на солнце, было изборождено морщинами, а голубые глазки смотрели удивительно плутовато. Они бегали быстро-быстро, следя за каждым моим движением, и придавали капитану изрядно жуликоватый вид, хотя в настоящую минуту он был, можно сказать, сама доброжелательность. Его костюм цвета хаки выглядел весьма неопрятным, а руки очень нуждались в воде и мыле.

– Я хорошо знал Стрикленда, – начал он, закурив сигару, которую я ему предложил, и поудобнее устраиваясь в кресле. – Благодаря мне он и попал на эти острова.

– Где вы с ним повстречались? – спросил я.

– В Марселе.

– Что вы там делали?

Он заискивающе улыбнулся.

– Гм, я там, собственно, сидел без работы.

Судя по виду моего нового приятеля, он и теперь находился не в лучшем положении; я уже приготовился поддержать это приятное знакомство. Такие шалопаи, как правило, вознаграждают нас за мелкие моральные издержки, которые несешь, общаясь с ними. Они легко сближаются, разговорчивы. Заносчивость чужда им, а предложение выпить – вернейший путь к их сердцу. Вам нет нужды завоевывать их расположение, и за то, что вы будете внимательно слушать их рассказы, они заплатят вам не только доверием, но и благодарностью.

Для них первейшее удовольствие в жизни – почесать язык и заодно щегольнуть своей образованностью, и надо признать, по большей части они превосходные рассказчики. Излишество их жизненного опыта приятно уравновешивается живостью воображения. Простаками их, конечно, не назовешь, но они уважают закон, когда он опирается на силу. Играть с ними в покер – рискованное занятие, но их сноровка придает дополнительную своеобразную прелесть этой лучшей в мире игре. Я хорошо узнал капитана Николса за время своего пребывания на Таити, и это знакомство, безусловно, обогатило меня. Сигары и виски, за которые я платил (от коктейля он, как заядлый трезвенник, раз и навсегда отказался), так же как и те несколько долларов, которые капитан взял у меня взаймы с видом, ясно говорившим, что он делает мне величайшее одолжение, отнюдь не эквивалентны тому, что я от него получил: он развлекал меня. Я остался его должником и не вправе отделаться от него двумя словами.

Не знаю, почему капитану Николсу пришлось уехать из Англии. Он об этом старательно умалчивал, а задавать вопросы людям его склада – заведомая бестактность. Он намекал на какую-то беду, незаслуженно его постигшую, и вообще считал себя жертвой несправедливости. Я полагал, что речь идет о мошенничестве или о насилии, и охотно поддакивал ему: да, судейские чиновники в старой Англии – отчаянные формалисты. Зато как это хорошо, что, несмотря на все неприятности, испытанные им в родной стране, он остался пламенным патриотом. Он неоднократно заявлял, что Англия – лучшая страна в мире, и живо чув-



ствовал свое превосходство над американцами и жителями колоний, итальяшками, голландцами и канаками.

Но счастливым капитан все-таки не был. Он страдал от дурного пищеварения и то и дело глотал таблетки пепсина; по утрам у него не было аппетита, что, впрочем, не ухудшало его настроения. У него имелись и другие основания роптать на жизнь. Восемь лет назад он опрометчиво женился. Есть люди, которым милосердное провидение предрекало холостяцкое житье, но они из своенравия или по случайному стечению обстоятельств нарушают его волю. Нет на свете ничего более жалкого, чем женатый холостяк. А капитан Николс был женатым холостяком. Я знал его жену, ей было лет двадцать восемь – впрочем, она принадлежала к тому типу женщин, возраст которых не определишь; такой она была, вероятно, в двадцать лет и в сорок тоже едва ли выглядела старше. Мне казалось, что она вся как-то стянута. Ее плоское лицо с узкими губами было стянуто, кожа плотно обтягивала кости, рот кривился в натянутой улыбке, волосы были стянуты в тугий узел, платье сидело в обтяжку, а белое полотно, из которого оно было сшито, выглядело как черная бумазая. Я никак не мог понять, почему капитан Николс на ней женился, а женившись, почему от нее не удрал. Впрочем, кто знает, может быть, он не раз пытался это сделать: меланхолия же его именно тем и объяснялась, что все эти попытки терпели крушение. Как бы далеко он ни уходил, в какое бы укромное местечко ни забивался, миссис Николс, неумолимая, как судьба, и беспощадная, как совесть, немедленно настигала его. Он не мог избавиться от нее, как причина не может избавиться от следствия.

Мошенник, артист, а может быть, и джентльмен не принадлежит ни к какому классу. Его не проймешь нахальной бесцеремонностью бродяги и не смутишь чопорным этикетом королевского двора. Но миссис Николс принадлежала к сословию, так сказать, ниже среднего. Папаша ее был полисменом – и я уверен, весьма расторопным. Не знаю, чем она привязала к себе капитана, но не думаю, чтобы узами любви. Я от нее слова не слышал, но не исключено, что в домашней обстановке это была весьма говорливая особа. Так или иначе, но капитан Николс смертельно ее боялся. Иногда мы с ним сидели на террасе отеля, и он вдруг замечал, что она проходит по улице. Она его не окликала, ни словом, ни жестом не показывала, что видит его, а невозмутимо шагала туда и обратно. Странное беспокойство овладевало тогда капитаном: он начинал смотреть на часы и вздыхать.

– Ну, мне пора, – говорил он наконец.

И тут уже ничем нельзя было удержать его, даже стаканом виски. А ведь он неустрашимо встречал ураганы, тайфуны и, вооруженный одним только револьвером, не задумываясь, вступил бы в драку с десятком безоружных негров. Случалось, что миссис Николс посылала за ним свою дочь, бледную, сердитую девочку лет семи.

– Тебя мама зовет, – говорила она плаксивым голосом.

– Иду, иду, деточка, – отвечал капитан Николс.

Он вскакивал и шел за дочерью. Прекрасный пример торжества духа над материей, а следовательно, в отступлении, которое я себе позволил, по крайней мере имеется мораль.

## 47

Я постарался придать некоторую слитность отрывочным рассказам капитана Николса о Стрикленде, которые и перескажу сейчас по возможности последовательно. Они познакомились зимой того же года, когда я в последний раз видел Стрикленда в Париже. Как он жил эти месяцы после нашей встречи, я не знаю, но, видно, ему пришлось очень круто, так как Николс встретился с ним в ночлежном доме. В Марселе в то время была всеобщая забастовка, и Стрикленд, оставшись без денег, не мог заработать даже те гроши, которые были ему необходимы, чтобы душа не расталась с телом.

Монастырский ночлежный дом в Марселе – это большое мрачное здание, где бедняки и безработные получали право одну неделю пользоваться койкой, если у них были в порядке документы и они могли доказать монахам, что не являются беспаспортными бродягами. Ка-

питан Николс тотчас же заметил Стрикленда, выделявшегося своим ростом и оригинальной наружностью в толпе возле дверей ночлежки; они ждали молча: кто шагал взад и вперед, кто стоял, прислонившись к стене; многие сидели на обочине дороги, спустив ноги в канаву. Когда их наконец впустили в контору, капитан услышал, что проверявший документы монах обратился к Стрикленду по-английски. Но капитану не удалось заговорить с ним: как только их впустили в общую комнату, туда тотчас же явился монах с громадной Библией и с кафедрой, стоявшей в конце помещения, начал проповедь, которую эти несчастные должны были слушать в оплату за то, что их здесь приютили. Капитан и Стрикленд были назначены в разные спальни, а в пять часов утра, когда дюжий монах объявил подъем и капитан заправлял свою койку и умывался, Стрикленд уже исчез. Капитан около часу пробродил по улицам, дрожа от холода, а потом отправился на площадь Виктора Желю, где обычно собирались безработные матросы. Там он опять увидел Стрикленда, дремлющего у пьедестала памятника. Он разбудил его пинком. – Пошли, браток, завтракать!

– Иди ко всем чертям, – отвечал Стрикленд.

Я узнал лаконичный стиль Стрикленда и решил, что свидетельству капитана Николса можно верить.

– Сидишь на мели? – спросил капитан.

– Проваливай, – сказал Стрикленд.

– Пойдем со мной, я тебе раздобуду завтрак.

Поколебавшись секунду-другую, Стрикленд встал, и они пошли в столовую «Ломоть хлеба», где голодным и вправду давали по куску хлеба с условием, что он будет съеден на месте: «навынос» хлеб не выдавался. Оттуда они двинулись в «Ложку супа», там в одиннадцать утра и в четыре дня бедняки получали по тарелке жидкой соленой похлебки. Столовые эти находились в разных концах города, так что только вконец изголодавшийся человек мог соблазниться таким завтраком. С этого началась своеобразная дружба Чарлза Стрикленда и капитана Николса.

Они провели в Марселе Друг с другом месяца четыре. Жизнь их текла без всяких приключений, если под приключением понимать неожиданные и яркие происшествия, ибо они с утра до вечера были заняты поисками заработка, которого хватило бы на оплату койки в ночлежном доме и на кусок хлеба, достаточный, чтобы заглушить муки голода. Мне бы очень хотелось воспроизвести здесь те характерные и красочные картины, которые развешивались передо мною в передаче капитана Николса. Оба они такого навидались за время своей жизни «на дне» большого портового города, что из этого получилась бы преинтересная книжка, а разговоры действующих лиц в рассказе капитана Николса могли бы послужить отличным материалом для составления полного словаря блатного языка. Но, к сожалению, я могу привести здесь лишь отдельные эпизоды. Начнем с того, что это было примитивное, грубое, но не унылое существование. И Марсель, который я знал, Марсель оживленный и солнечный, с комфортабельными гостиницами и ресторанами, наполненными сытой толпой, стал казаться мне банальным и серым. Я завидовал людям, которые собственными глазами видели все то, что я только слышал из уст капитана Николса.

После того как двери ночлежного дома закрылись перед ними, они оба решили прибегнуть к гостеприимству некоего Строптивного Билла. Это был хозяин матросской харчевни, рыжий мулат с тяжеленными кулаками, который давал приют и пищу безработным матросам и сам же подыскивал им места. Стрикленд и Николс прожили у него, наверно, с месяц, спали на полу вместе с другими матросами – шведами, неграми, бразильцами – в двух совершенно пустых комнатах, отведенных хозяином для своих постояльцев, и каждый день отправлялись вместе с ним на площадь Виктора Желю, куда приходили капитаны пароходов в поисках рабочей силы. Строптивный Билл был женат на толстой, обрюзгшей американке, бог весть каким образом дошедшей до такой степени падения, и его постояльцам вменялось в обязанность поочередно помогать ей по хозяйству. Капитан Николс считал, что Стрикленд ловко увильнул от этой работы, написав портрет Билла. Последний не только уплатил за холст, краски и кисти, но еще дал Стрикленду в придачу фунт контрабандного

табаку. Полагаю, что эта картина и по сей день украшает гостиную полуразрушенного домишки неподалеку от набережной и теперь наверняка стоит полторы тысячи фунтов. Стрикленд мечтал поступить на какое-нибудь судно, идущее к берегам Австралии или Новой Зеландии, и уже оттуда пробраться на Самоа или на Таити. Почему Стрикленда потянуло в Южные моря, не знаю, но, помнится, ему давно представлялся остров, зеленый и солнечный, среди моря, более синего, чем моря северных широт. Он, наверно, и привязался к капитану Николсу потому, что тот знал эти дальние края. Мысль отправиться именно на Таити тоже исходила от Николса.

– Таити ведь принадлежит французам, – пояснил мне капитан, – а французы не такие чертовские формалисты, как англичане. Я понял, что он имеет в виду.

У Стрикленда не было нужных бумаг, но подобные пустяки Билла не смущали, когда можно было хорошо подработать (он забирал у матросов, которых устраивал на корабль, жалованье за весь первый месяц). Итак, он снабдил Стрикленда документами одного английского кочегара, весьма кстати умершего у него в харчевне. Но оба они, и капитан Николс, и Стрикленд, рвались на восток, а работа, как назло, представлялась только на пароходах, идущих на запад. Стрикленд дважды отказался от места на судах, отправляющихся в Соединенные Штаты, и в третий раз – на угольщике, идущем в Ньюкасл. Строптивный Билл не терпел упрямства, из-за которого мог остаться внакладе, и без всяких церемоний вышвырнул обоих из своего заведения. Они снова сели на мель.

Еда у Строптивного Билла не отличалась роскошеством, из-за стола его нахлебники вставали почти такими же голодными, как и садились за него, и все-таки Стрикленд и Николс в течение нескольких дней с нежностью вспоминали об этих обедах. «Ложка супа» и ночлежный дом были закрыты для них, и они поддерживали свое существование только тем, на что расщедрился «Ломоть хлеба». Спали они где придется, в товарных вагонах на запасных путях или под повозками у пакгауза, но холод стоял лютый, и, продремав часа два, они начинали убегать по улицам. Больше всего оба страдали без табаку, и капитан отправлялся «на охоту» к пивному заведению – подбирать окурки папирос и сигар, брошенные вечерними посетителями.

– Я бог знает чем набивал свою трубку, – заметил капитан, меланхолически пожимая плечами, и взял из ящика, который я ему пододвинул, сразу две сигары: одну он сунул в рот, другую в карман.

Временами им удавалось зашибить немножко денег. Когда приходил почтовый пароход, они работали по его разгрузке, так как капитан Николс ухитрился завязать знакомство с боцманом. Иногда они хитростью проникали на бак английского парохода, и команда угощала земляков сытным завтраком. При этом они рисковали наткнуться на корабельное начальство и кубарем скатиться по трапу да еще получить пинок вдогонку.

– Ну, да пинок в зад – беда небольшая, если брюхо полно, – заметил капитан Николс, – и лично я на это дело не обижался. Начальству положено наблюдать за дисциплиной.

Я живо представил себе, как капитан Николс вверх тормашками летит по узенькому трапу и, будучи истым англичанином, восхищается дисциплиной английского торгового флота.

Чаще всего они промышляли на рыбном рынке, а как-то раз получили по франку за погрузку на товарную платформу неисчислимого количества ящиков с апельсинами, сваленных у причала. Однажды им сильно повезло: знакомый «хозяин» взял подряд на покраску судна, которое прибыло с Мадагаскара, обогнув мыс Доброй Надежды, и они несколько дней кряду провисели в люльке, нанося слой краски на его заржавленные борта. Положение это, безусловно, должно было вызвать сардонические реплики Стрикленда. Я спросил Николса, как вел себя Стрикленд во время всех этих испытаний.

– Ни разу не слышал, чтобы он хоть выругался, – отвечал капитан. – Иногда он, конечно, хмурился, но, если у нас с утра до вечера маковой росинки во рту не бывало и нечем было заплатить китаезе за ночлег, он только посмеивался.

Меня это не удивило. Стрикленд никогда не падал духом от неблагоприятных обстоя-

тельств, но было ли то следствием невозмутимости характера или гордости, судить не берусь.

«Головой китаезы» портовый сброд прозвал грязный притон на улице Бутери; его держал одноглазый китаец, и там за шесть су можно было получить койку, а за три выспаться на полу. Здесь оба они завели себе друзей среди таких же горемык и, когда у них не было ни гроша, а на дворе стояла стужа, не стесняясь, брали у них взаймы несколько су из случайно заработанного франка, чтобы оплатить ночлег. Эти бродяги, не задумываясь, делились последним грошом с такими же, как они. В Марсельский порт стекались люди со всего света, но различие национальностей не служило помехой доброй дружбе, все они чувствовали себя свободными гражданами единой страны – великой страны кокаина.

– Но зато расвирепешший Стрикленд бывал страшен, – задумчиво процедил капитан Николс. – Как-то раз мы зашли в логово Строптивного Билла, и он спросил у Чарли документы, которыми когда-то ссудил его.

– А ну, возьми, попробуй! – сказал Чарли.

Строптивный Билл был рыжим детиной, но вид Чарли ему не понравился, и он стал на все лады честить его. А когда Билл ругался, его, право же, небезынтересно было послушать. Чарли терпел-терпел, а затем шагнул вперед и сказал: «Вон отсюда, скотина!» Тут важно не что он сказал, а как сказал! Билл ни слова ему не ответил, пожелтел весь и смотался так быстро, точно спешил на свидание.

В передаче капитана Николса Стрикленд обозвал Билла вовсе не «скотиной», но, поскольку эта книга предназначена для семейного чтения, я, в ущерб точности, решил вложить в уста Стрикленда слова, принятые в семейном кругу.

Но не таков был Строптивный Билл, чтобы стерпеть унижение от простого матроса. Его власть зависела от престижа, и прошел слух, что он поклялся прикончить Стрикленда.

Однажды вечером капитан Николс и Стрикленд сидели в кабачке на улице Бутери. Это узкая улица, застроенная одноэтажными домишками, – по одной комнате в каждом, похожими не то на ярмарочные балаганы, не то на клетки в зверинце. У каждой двери там стоят женщины. Одни, лениво прислонившись к косяку, мурлычут какую-то песенку, хриплыми голосами зазывают прохожих, другие молча читают. Есть здесь француженки, итальянки, испанки, японки и темнокожие. Есть худые и толстые. Густой слой белил, подведенные брови, ярко-красные губы не скрывают следов, оставленных временем и развратом. Некоторые из этих женщин одеты в черные рубашки и телесного цвета чулки; на других короткие муслиновые платица, как у девочек, а крашенные волосы завиты в мелкие кудряшки. Через открытую дверь виднеется пол, выложенный красными изразцами, широкая деревянная кровать, кувшин и таз на маленьком столике. Пестрая толпа слоняется по улице – индийцы-матросы, белокурые северяне со шведской шхуны, японцы с военного корабля, английские моряки, испанцы, щеголеватые молодые люди с французского крейсера, негры с американских торговых судов.

Днем улица Бутери грязна и убога, но по ночам, освещенная только лампами в окнах хибарок, она красива какой-то зловещей красотой. Омерзительная похоть, пронизывающая воздух, гнетет и давит, и тем не менее есть что-то таинственное в этой картине, что-то тревожное и захватывающее. Все здесь насыщено первобытной силой; она внушает отвращение и в то же время очаровывает. Могучим потоком снесены условности цивилизации, и люди на этой улице стоят лицом к лицу с сумрачной действительностью. Атмосфера напряженная и трагическая.

В кабачке, где сидели Стрикленд и Николс, пианола громко отбарабанивала танцы. По стенам за столиками расселись пьяные в дым матросы и несколько человек солдат; посредине, сбившись в кучу, танцевали пары. Бородатые загорелые моряки с большими мозолистыми руками крепко прижимали к себе девиц, на которых не было ничего, кроме рубашки. Случалось, что два матроса вставали из-за столика и шли танцевать в обнимку. Шум стоял оглушительный. Посетители пели, ругались, хохотали. Когда какой-нибудь мужчина долгим поцелуем впивался в сидящую у него на коленях девицу, английские матросы оглушительно

мяукали. Воздух был тяжелый от пыли, поднимаемой сапогами мужчин, и сизый от табачного дыма. Жара стояла отчаянная. Женщина, сидевшая за стойкой, кормила грудью ребенка. Кельнер, низкорослый парень с прыщавым лицом, носился взад и вперед с подносом, уставленным кружками пива.

Вскоре туда явился Строптивный Билл в сопровождении двух дюжих негров; с первого взгляда можно было определить, что он уже основательно хлебнул. Он тотчас же стал напрашиваться на скандал. Толкнул столик, за которым сидело трое солдат, и опрокинул кружку пива. Началась ссора, хозяин вышел и предложил Биллу убраться вон. Малый он был здоровенный, скандалов в своем заведении не терпел, и Билл заколебался. Связываться с кабатчиком не имело смысла, полиция всегда была на его стороне; итак, Билл крепко выругался и пошел к двери. Но тут ему на глаза попался Стрикленд. Ни слова не говоря, он ринулся к его столику и плюнул ему в лицо. Стрикленд швырнул в него пивной кружкой. Танцующие остановились. На мгновение воцарилась полная тишина, но когда Строптивный Билл бросился на Стрикленда, всех до одного охватила жажда драки, и началась свалка. Столы опрокидывались, осколки летели на пол. Шум поднялся адский. Женщины врассыпную бросились на улицу и за стойку. Прохожие вбегали и вмешивались в потасовку. Теперь уже слышались проклятия на всех языках, удары, вопли; посреди комнаты в яростный клубок сцепилось человек десять матросов. Откуда ни возьмись явилась полиция, и все, кто мог, постарались улизнуть. Когда зал был очищен, на полу без сознания остался лежать Строптивный Билл с глубокой раной на голове. Капитан Николс выволок на улицу Стрикленда, рука у него была ранена, лицо и изодранная одежда – в крови; Николсу разбили нос.

– Лучше тебе смотаться из Марсея, покуда Билл не вышел из больницы, – сказал он Стрикленду, когда они уже добрались до «Головы китаезы» и по мере возможности приво-дили себя в порядок.

– Это, пожалуй, почище петушиного боя, – заметил Стрикленд.

При этих словах мне сразу представилась его сардоническая улыбка.

Капитан Николс был в тревоге. Он хорошо знал мстительность Строптивного Билла. Стрикленд дважды одолел мулата, а когда Билл трезв, с ним лучше не связываться. Он теперь будет действовать исподтишка. Торопиться он не станет, но в одну прекрасную ночь Стрикленд получит удар ножом в спину, а через день-два тело неизвестного бродяги будет выловлено из грязной воды в гавани. На следующий день капитан отправился на разведку к дому Строптивного Билла. Он еще лежал в больнице, но жена, которая ходила его навещать, сказала, что он поклялся убить Стрикленда, как только вернется домой. Прошла целая неделя.

– Я всегда говорил, – задумчиво продолжал капитан Николс, – что если ты уж дал тумака, то пусть это будет основательный тумак. Тогда у тебя по крайней мере хватит времени поразмыслить о том, что делать дальше.

Но Стрикленду вдруг повезло. В бюро по найму матросов поступила заявка – на пароход, идущий в Австралию, срочно требовался кочегар, так как прежний в приступе белой горячки бросился в море возле Гибралтара.

– Беги скорей в гавань и подписывай контракт, – сказал капитан Николс. – Бумаги у тебя, слава богу, есть.

Стрикленд последовал его совету, и больше они не виделись. Пароход простоял в гавани всего шесть часов, и вечером, когда он уже рассекал студеные волны, капитан увидел на востоке исчезающий дымок.

Я старательно изложил все слышанное от капитана потому, что меня привлек контраст между этими событиями и той жизнью, которой при мне жил Стрикленд на Эшлигарден, занятый биржевыми операциями. Но, с другой стороны, я знаю, что капитан Николс – отъявленный враль и, возможно, в его рассказе нет ни слова правды. Я бы не удивился, узнав, что он никогда в жизни не видел Стрикленда и что все его описания Марсея вычитаны из иллюстрированных журналов.

На этом я предполагал закончить свою книгу. Сперва мне хотелось описать последние годы Стрикленда на Таити и его страшную кончину, а затем обратиться вспять и познакомить читателей с тем, что мне было известно о его первых шагах как художника. И не потому, что так мне заблагорассудилось, а потому, что я сознательно хотел расстаться со Стриклендом в пору, когда он с душою, полной смутных грез, покидал континент для неведомого острова, давно уже дразнившего его воображение. Мне нравилось, что этот человек в сорок семь лет, то есть в возрасте, когда другие живут налаженной, размеренной жизнью, пустился на поиски нового света. Я уже видел серое море, вспененное мистралем, и пароход; с борта его Стрикленд смотрит, как скрываются вдаль берега Франции, на которые ему не суждено вернуться; и я думал, что много все-таки бесстрашия было в его сердце. Я хотел, чтобы конец моей книги был оптимистическим. Как это подчеркнуло бы негибаемую силу человеческой души! Но ничего у меня не вышло. Не знаю почему, повесть моя не желала строиться, и после нескольких неудачных попыток я отказался от этого замысла, начал, как положено, книгу с начала и решил рассказать читателю только то, что я знал о жизни Стрикленда, последовательно излагая факты.

Но в моем распоряжении были лишь самые отрывочные сведения. Я оказался в положении биолога, которому по одной кости предстоит не только восстановить внешний вид доисторического животного, но и его жизненный уклад. Стрикленд не произвел сильного впечатления на людей, которые соприкасались с ним на Таити. Для них он был просто бродяга без гроша за душой, отличавшийся от других бродяг разве тем, что он малевал какие-то чудные картины. И лишь через несколько лет после его смерти, когда на остров из Парижа и Берлина съехались агенты крупных торговцев картинами в надежде, что там еще можно будет разыскать кое-что из творений Стрикленда, они стали догадываться, что среди них жил человек весьма недюжинный. Тут их осенило, что они за медный грош могли купить полотна, которые стоили теперь огромных денег, и они очень сокрушались об упущенных возможностях. Среди жителей Папее, знавших Стрикленда, был один французский еврей по имени Коэн, у которого случайно оказалась картина Стрикленда. Маленький старичок с добродушными глазками и приветливой улыбкой, наполовину торговец, наполовину моряк, он курсировал на собственной шхуне между Паумоту и Маркизскими островами, привозя туда всевозможные товары и взамен забирая копру, перламутр и жемчуг. Мне сказали, что он собирается недорого продать большую черную жемчужину, и я пошел к нему; когда же выяснилось, что жемчужина мне все равно не по карману, я заговорил с ним о Стрикленде. Старик хорошо знал его.

– Я, видите ли, интересовался им, потому что он был художник. У нас на островах художник – редкость, и я очень его жалел за то, что он так слаб в своем ремесле. Я первый дал ему работу. У меня есть плантация на полуострове, и туда требовался надсмотрщик. От туземцев ведь работы не добьешься, если над ними нет белого надсмотрщика. Я ему сказал: «У вас останется куча времени, чтобы писать картины, и денег немножко подработаете». Я знал, что он голодает, и предложил ему хорошее жалованье.

– Не думаю, чтобы он был хорошим надсмотрщиком, – улыбнулся я.

– Я смотрел на это сквозь пальцы, потому что всегда любил художников. Это ведь у нас в крови. Но он прослужил у меня всего два или три месяца и ушел, как только заработал денег на холст и краски. Он восхищался здешнею природой, и его опять потянуло бродяжничать. Но я иногда продолжал с ним встречаться. Он изредка навещался в Папее и по нескольку дней жил там, а потом, если ему удавалось достать у кого-нибудь денег, опять исчезал. В один из таких наездов он пришел ко мне и попросил займы двести франков. Вид у него был такой, словно он не ел целую неделю, и у меня не хватило духу ему отказать. На этих деньгах я, конечно, поставил крест. И вдруг через год он является и приносит мне картину. Он словом не обмолвился о долге, а только сказал: «Вот вам вид вашей плантации, я его написал для вас». Я взглянул на нее и не знал, что сказать, но, конечно, поблагодарил, а

когда он ушел, я показал ее жене.

– Что же это была за картина? – спросил я.

– Лучше не спрашивайте. Я в ней ровно ничего не понял, так как отродясь подобного не видывал. «Что нам с ней делать?» – сказал я жене. «О том, чтобы ее повесить, нечего и думать, – отвечала она, – люди будут смеяться над нами». Она снесла картину на чердак, где у нас лежала пропасть всякого хлама, потому что моя жена не в состоянии выбросить ни одной вещи. Это ее мания. Можете себе представить мое изумление, когда перед самой войной брат написал мне из Парижа: «Не знаешь ли ты чего-нибудь об английском художнике, который жил на Гаити? Оказалось, что он гений и его картины идут по очень высокой цене. Постарайся разыскать что-нибудь из его вещей и пришли мне. Можно хорошо заработать». Я спрашиваю жену, как насчет картины, которую мне подарил Стрикленд? Может, она все еще на чердаке? «Конечно, на чердаке, – говорит жена, – ты же знаешь, что я никогда ничего не выбрасываю, это моя мания». Мы с ней полезли на чердак и среди бог знает какого хлама, накопившегося за тридцать лет нашей жизни в этом доме, разыскали картину. Я опять смотрю на нее и говорю: «Ну кто бы мог подумать, что надсмотрщик с моей плантации, которому я дал взаймы двести франков, окажется гением? Скажи на милость, что хорошего в этой картине?» – «Не знаю, – отвечала она, – на нашу плантацию это несколько не похоже, и кокосовых пальм с синими листьями я никогда не видала. Но они там все с ума посходили в Париже, и, может, твоему брату удастся продать ее за двести франков, которые тебе задолжал Стрикленд». Сказано – сделано. Мы запаковали и отправили картину. В скором времени пришло письмо от брата. И что же, вы думаете, он написал? «Получив твою картину, я сначала решил, что тебе вздумалось надо мной подшутить. Я бы лично не дал за нее и того, что стоила пересылка. Я даже боялся показать ее тому человеку, который надоумил меня послать тебе запрос. Можешь себе представить, как я был удивлен, когда он объявил, что это замечательное произведение искусства, и предложил мне тридцать тысяч франков. Он, может быть, дал бы больше, но я, откровенно говоря, совсем обалдел и согласился, не успев даже собраться с мыслями».

И затем мсье Коэн сказал нечто совершенно очаровательное:

– Как жаль, что бедняга Стрикленд не дожил до этого дня. Воображаю его удивление, когда я бы вручил ему за его картину двадцать девять тысяч восемьсот франков.

## 49

Я жил в отеле «Де ла Флер», и хозяйка его, миссис Джонсон, поведала мне печальную историю о том, как она прозевала счастливый случай. После смерти Стрикленда часть его имущества продавалась с торгов на рынке в Папеэте. Миссис Джонсон отправилась на торги, потому что среди его вещей была американская печка, которую ей хотелось приобрести. В конце концов она ее и купила за двадцать семь франков.

– Там было еще штук десять картин, да только без рам, – рассказывала она, – и никто на них не льстился. Некоторые пошли за десять франков, а большинство за пять или шесть. Подумать только, если бы я их купила, я бы теперь была богатой женщиной.

Нет, Тиаре Джонсон ни при каких обстоятельствах не стала бы богатой женщиной. Деньги текли у нее из рук. Она была дочерью туземки и английского капитана, обосновавшегося на Гаити. Когда я с ней познакомился, ей было лет пятьдесят, но выглядела она старше – прежде всего из-за своих громадных размеров. Высокая и страшно толстая, она казалась бы величественной, если б ее лицо способно было выразить что-нибудь, кроме добродушия. Руки ее напоминали окорока, грудь – гигантские кочны капусты; лицо миссис Джонсон, широкое и мясистое, почему-то казалось неприлично голым, а громадные подбородки переходили один в другой – сколько их было, сказать не берусь: они утопали в ее бюсте. Она с утра до вечера ходила в розовом капоте и широкополой соломенной шляпе. Но когда она распускала свои темные, длинные и вьющиеся волосы, а делала она это нередко, потому что они составляли предмет ее гордости, то ими нельзя было не залюбоваться, и гла-

за у нее все еще оставались молодыми и задорными. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся заразительнее, чем она. Смех ее, начавшись с низких раскатов где-то в горе, становился все громче и громче, причем сотрясалось все ее огромное тело. Превыше всего на свете она ставила веселую шутку, стакан вина и красивого мужчину. Знакомство с нею было истинным удовольствием.

Лучшая повариха на острове, Тиаре обожала вкусно покушать. С утра до поздней ночи восседала она в кухне на низеньком стуле, вокруг нее суетились повар-китаец и три девушки-туземки, а она отдавала приказания, весело болтала со всеми и пробовала пикантные кушанья собственного изобретения. Если ей хотелось почтить кого-нибудь из друзей, она собственноручно стряпала обед. Гостеприимство ее не знало границ, и не было человека на острове, который ушел бы без обеда из отеля «Де ла Флер», пока в ее кладовой были хоть какие-нибудь припасы. Тиаре никогда не выгоняла своих постояльцев, не плативших по счетам, надеясь, что со временем дела их поправятся и они отдадут свой долг. Один из них попал в беду, и она в течение многих месяцев ничего с него не спрашивала за стол и квартиру, а когда в китайской прачечной отказались бесплатно стирать ему, она стала отдавать в стирку его белье вместе со своим. «Нельзя же, чтоб бедный малый разгуливал в грязных рубашках», – говорила Тиаре, а поскольку он был мужчина – мужчины же должны курить, – то она ежедневно выдавала ему по франку на папиросы. При этом она была с ним ничуть не менее обходительна, чем с другими постояльцами.

Годы и тучность сделали ее неспособной к любви, но она с живейшим интересом вникала в любовные дела молодежи. Любовь, по ее убеждению, была естественнейшим занятием для мужчин и женщин, и в этой области она всегда охотно давала советы и указания на основе своего обширного опыта.

– Мне еще пятнадцати не было, когда отец узнал, что у меня есть возлюбленный, третий помощник капитана с «Тропической птицы». Настоящий красавчик. – Она вздохнула. Говорят, женщины всегда с нежностью вспоминают своего первого возлюбленного, – но всегда ли им удастся вспомнить, кто был первым?

– Мой отец был умный человек.

– И что же он сделал? – полюбопытствовал я.

– Сначала избил меня до полусмерти, а потом выдал за капитана Джонсона. Я не противилась. Конечно, он был старше меня, но тоже красавец собою.

Тиаре – отец назвал ее по имени душистого белого цветка (таитяне говорят, что если человек хоть раз услышит его аромат, то непременно вернется на Таити, как бы далеко он ни уехал), – Тиаре хорошо помнила Стрикленда.

– Иногда он заглядывал к нам, а кроме того, я часто видела его на улицах Папеете. Я так его жалела – тощий, всегда без денег. Бывало, стоит мне услышать, что он в городе, и я сейчас же посылала боя звать его обедать. Раз-другой я даже раздобыла для него работу, но он как-то ни к чему не мог прилепиться. Пройдет немного времени, его опять уже тянет в лес – и он исчезает.

Стрикленд добрался до Таити через полгода после того, как покинул Марсель. Проезд свой он заработал матросской службой на судне, совершавшем рейсы между Оклендом и Сан-Франциско, и высадился на берег с этюдником, мольбертом и дюжиной холстов. В кармане у него было несколько фунтов стерлингов, заработанных в Сиднее. Высадившись на Таити, он, видимо, сразу почувствовал себя дома. Стрикленд поселился у туземцев в маленьком домишке за городом.

По словам Тиаре, он как-то сказал ей:

– Я мыл палубу, и вдруг один матрос говорит мне: «Вот и пришли!» Я поднял глаза, увидел очертания острова и мигом понял – это то самое место, которое я искал всю жизнь. Когда мы подошли ближе, мне показалось, что я узнаю его. Мне и теперь случается видеть уголки, как будто давно знакомые. Я готов голову дать на отсечение, что когда-то уже жил здесь.!

– Это случается, – заметила Тиаре, – я знавала людей, которые сходили на берег на не-



сколько часов, куда пароход грузится, и никогда не возвращались домой. А другие приезжали сюда служить на один год и всячески поносили Таити, потом они уезжали и клялись, что лучше повесятся, чем снова приедут сюда. А через несколько месяцев мы снова встретили их на пристани, и они говорили, что уже нигде больше не находят себе места.

## 50

Мне думается, что есть люди, которые родились не там, где им следовало родиться. Случайность забросила их в тот или иной край, но они всю жизнь мучаются тоской по неведомой отчизне. Они чужие в родных местах, и тенистые аллеи, знакомые им с детства, равно как и людные улицы, на которых они играли, остаются для них лишь станцией на пути. Чужаками живут они среди родичей; чужаками остаются в родных краях. Может быть, эта отчужденность и толкает их вдаль, на поиски чего-то постоянного, чего-то, что сможет привязать их к себе. Может быть, какой-то глубоко скрытый атавизм гонит этих вечных странников в края, оставленные их предками давно-давно, в доисторические времена. Случается, что человек вдруг ступает на ту землю, к которой он привязан таинственными узами. Вот наконец дом, который он искал, его тянет осесть среди природы, ранее им не виданной, среди людей, ранее не знаемых, с такой силой, точно это и есть его отчизна. Здесь, и только здесь, он находит покой.

Я рассказал Тиаре историю одного человека, с которым я познакомился в лондонской больнице Святого Фомы. Это был еврей по имени Абрагам, белокурый, плотный молодой человек, нрава робкого и скромного, но на редкость одаренный. Институт дал ему стипендию, и за пять лет учения он неизменно оставался лучшим студентом. После окончания медицинского факультета Абрагам был оставлен при больнице как хирург и терапевт. Блистательные его таланты признавались всеми. Вскоре он получил постоянную должность, будущее его было обеспечено. Если вообще можно что-нибудь с уверенностью предсказать человеку, то уж Абрагаму, конечно, можно было предсказать самую блестящую карьеру. Его ждали почет и богатство. Прежде чем приступить к своим новым обязанностям, он решил взять отпуск, а так как денег у него не было, то он поступил врачом на пароход, отправлявшийся в Ливан; там не очень-то нуждались в судовом враче, но один из главных хирургов больницы был знаком с директором пароходной линии – словом, все отлично устроилось.

Через месяц или полтора Абрагам прислал в дирекцию письмо, в котором сообщал, что никогда не вернется в больницу. Это вызвало величайшее удивление и множество самых странных слухов. Когда человек совершает какой-нибудь неожиданный поступок, таковой обычно приписывают недостойным мотивам. Но очень скоро нашелся врач, готовый занять место Абрагама, и об Абрагаме забыли. О нем не было ни слуху ни духу.

Лет примерно через десять, когда экскурсионный пароход, на котором я находился, вошел в гавань Александрии, мне вместе с другими пассажирами пришлось подвергнуться врачебному осмотру. Врач был толстый мужчина в потрепанном костюме; когда он снял шляпу, я заметил, что у него совершенно голый череп. Мне показалось, что я с ним где-то встречался. И вдруг меня осенило.

– Абрагам, – сказал я.

Он в недоумении оглянулся, узнал меня, горячо потряс мне руку. После взаимных возгласов удивления, узнав, что я собираюсь заночевать в Александрии, он пригласил меня обедать в Английский клуб. Вечером, когда мы встретились за столиком, я спросил, как он сюда попал. Должность он занимал весьма скромную и явно находился в стесненных обстоятельствах. Абрагам рассказал мне свою историю. Уходя в плавание по Средиземному морю, он был уверен, что вернется в Лондон и приступит к работе в больнице Святого Фомы. Но в одно прекрасное утро его пароход подошел к Александрии, и Абрагам с палубы увидел город, сияющий белизной, и толпу на пристани; увидел туземцев в лохмотьях, суданских негров, шумливых, жестикулирующих итальянцев и греков, важных турок в фесках, яркое солнце и синее небо. Тут что-то случилось с ним, что именно, он не мог объяснить. «Это

было как удар грома, – сказал он и, не удовлетворенный таким определением, добавил: – Как откровение». Сердце его сжалось, затем возликовало – и сладостное чувство освобождения пронзило Абрагама. Ему казалось, что здесь его родина, и он тотчас же решил до конца дней своих остаться в Александрии. На судне ему особых препятствий не чинили, и через двадцать четыре часа он со всеми своими пожитками сошел на берег.

– Капитан, верно, принял вас за сумасшедшего, – смеясь, сказал я.

– Мне было все равно, что обо мне думают. Это действовал не я, а какая-то необоримая сила во мне. Я решил отправиться в скромный греческий отель и вдруг понял, что знаю, где он находится. И правда, я прямо вышел к нему и тотчас же его узнал.

– Вы бывали раньше в Александрии?

– Я до этого никогда не выезжал из Англии.

Он скоро поступил на государственную службу в Александрии, да так и остался на этой должности.

– Жалели вы когда-нибудь о своем поступке?

– Никогда, ни на одну минуту. Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать, и я доволен. Я ничего больше не прошу у судьбы до самой смерти. И, умирая, скажу, что прекрасно прожил жизнь.

Я уехал из Александрии на следующий день и больше не думал об Абрагаме; но не так давно мне довелось обедать с другим старым приятелем, тоже врачом, неким Алеком Кармайклом, очень и очень преуспевшим в Англии. Я столкнулся с ним на улице и поспешил поздравить его с титулом баронета, который был ему пожалован за выдающиеся заслуги во время войны. В память прошлых дней мы сговорились пообедать и провести вечер вместе, причем он предложил никого больше не звать, чтобы всласть наговориться. У него был великолепный дом на улице Королевы Анны, обставленный с большим вкусом. На стенах столовой я увидел прелестного Белотто и две картины Зоффаниса, возбудившие во мне легкую зависть. Когда его жена, высокая красивая женщина в платье из золотой парчи, оставила нас вдвоем, я, смеясь, указал ему на перемены, происшедшие в его жизни с тех пор, как мы были студентами-медиками. В те времена мы считали непозволительной роскошью обед в захудалом итальянском ресторанчике на Вестминстер Бридж-роуд. Теперь Алек Кармайкл состоял в штате нескольких больниц и, надо думать, зарабатывал в год не менее десяти тысяч фунтов, а титул баронета был только первой из тех почетных наград, которые, несомненно, его ожидали.

– Да, мне жаловаться грех, – сказал он, – но самое странное, что всем этим я обязан счастливой случайности.

– Что ты имеешь в виду?

– Помнишь Абрагама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я мотился. При нем я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больницы, и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрагам был гениальным хирургом. Никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат Святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сделался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрагам ушел, и его место досталось мне. Это была первая удача.

– Да, ты, пожалуй, прав.

– Счастливый случай. Абрагам – чудака. Он совсем опустил, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, ума и способностей еще недостаточно. Характер – вот самое важное. Абрагам был бесхарактерный человек.

Характер? А я-то думал, надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный. И какой же нужен характер, чтоб никогда не пожалеть об этом внезапном шаге! Но я не стал спорить, а мой приятель за-

думчиво продолжал:

– Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрагам так поступил. Я-то ведь на этом немало выиграл. – Он с удовольствием затянулся дорогой сигарой. – Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же так исковеркать себе жизнь!

Я усомнился в том, что Абрагам исковеркал себе жизнь. Разве делать то, к чему у тебя лежит душа, жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада – значит исковеркать себе жизнь? И такое ли уж это счастье быть видным хирургом, зарабатывать десять тысяч фунтов в год и иметь красавицу жену? Мне думается, все определяется тем, чего ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с баронетом?

## 51

Когда я рассказал эту историю Тиаре, она похвалила меня за сдержанность, и следующие несколько минут мы работали молча – лущили горох. Но затем ее взгляд, всегда бдительный в кухонных делах, отметил какое-то упущение повара-китайца, вызвавшее в ней бурю негодования. Она излила на него целый поток брани. Китаец не остался в долгу, и разгорелась отчаянная перепалка. Они кричали на туземном языке – я знал на нем не больше десятка слов, – и так, что казалось, вот-вот начнется светопреставление; но мир внезапно был восстановлен, и Тиаре протянула повару сигарету. Они оба спокойно закурили.

– А вы знаете, что это я нашла ему жену? – вдруг сказала Тиаре, и все ее необъятное лицо расплылось в улыбке.

– Повару?

– Нет, Стрикленду.

– Но он был женат.

– Он мне так и сказал, но я отвечала, что та жена в Англии, а Англия на другом конце света.

– Это верно, – согласился я.

– Он появлялся в Папеезе каждые два или три месяца – словом, когда ему нужны были краски, табак и деньги, и бродил по улицам, точно бездомный пес. Я очень его жалела. У меня здесь была горничная девушка, ее звали Ата, моя дальняя родственница; родители у нее умерли, и я взяла ее жить к себе. Стрикленд иногда к нам заходил – хорошенько пообедать или сыграть с боем в шахматы. Я заметила, что она на него поглядывает, и спросила, нравится ли он ей. Она сказала, что очень даже нравится. Вы же знаете этих девчонок, они всегда готовы пойти за белым человеком.

– Разве она была туземка? – спросил я.

– Да, чистокровная туземка. Так вот, после разговора с ней я послала за Стриклендом и сказала ему: «Пора тебе остепениться, Стрикленд. В твоём возрасте уже не пристало возиться с девчонками на набережной. Это дрянные девчонки, и ничего хорошего от них ждать не приходится. Денег у тебя нет, и ни на одной службе ты больше двух месяцев не продержался. Теперь тебя уже никто не возьмет на работу. Ты говоришь, что можешь просуществовать, живя в лесу то с одной, то с другой из местных женщин, благо они так охочи до белых мужчин, но это-то как раз белому мужчине и не подобает. А теперь слушай меня внимательно. Стрикленд...»

Тиаре мешала французские слова с английскими, ибо одинаково бегло говорила на обоих языках, хотя и с певучим акцентом, не лишенным приятности. Слушая Тиаре, я думал, что так, наверно, говорила бы птица, умея она говорить по-английски.

– Как ты насчет того, чтобы жениться на Ате? Она хорошая девочка, и ей всего семнадцать лет. Она привередница, не чета другим нашим девчонкам; капитан или первый помощник, ну это еще куда ни шло, но ни один туземец к ней не прикасался. Elle se respecte, vois-tu [она себя уважает (франц.)]. Эконом с «Оаху», когда был здесь в последний раз, ска-

зал, что не видел на островах девушки красивее Аты. Ей пора обзавестись семьей, а кроме того, капитаны и первые помощники тоже ведь любят разнообразие. Я у себя долго девушек не держу. У Аты есть клочок земли возле Таравао, у самого въезда на мыс, и при нынешних ценах на копру вы вполне проживете. Там есть дом, и ты будешь писать картины сколько твоей душе угодно. Ну как? – Тиаре перевела дыхание.

– Вот тогда он мне и сказал про свою жену в Англии. «Бедный мой Стрикленд, – отвечала я, – у каждого мужчины где-нибудь есть жена, поэтому они и бегут к нам на острова. Ата – разумная девушка, и ей не нужны церемонии у мэра. Она протестантка, а протестанты, как тебе известно, смотрят на все это иначе, чем католики». Тут он сказал: «А что думает сама Ата?» – «Ата, по-моему, к тебе равнодушна, – заметила я. – За ней дело не станет. Позвать ее?» Он фыркнул как-то отрывисто и сердито, у него была такая манера, и я позвала Ату. Она знала, о чем я говорю с ним, плутовка; я краешком глаза видела, что она подслушивает, хотя она и делала вид, что гладит мою блузку. Ата подошла; она смеялась и немножко робела. Стрикленд, ни слова не говоря, смотрел на нее.

– Она была хорошенькая? – спросил я.

– Недурна. Да вы, наверно, видели ее на картинах. Стрикленд без конца ее писал, иногда в парео, а иногда и совсем голую. Да, она была очень недурна. И стряпать умела хорошо. Я сама ее выучила. Я вижу, что Стрикленд задумался, и говорю: «Ата получала у меня хорошее жалованье и принакопила денег, да еще капитаны и первые помощники иной раз давали ей, у нее теперь не одна сотня франков». Он потербил свою рыжую бороду и улыбнулся. «Ну как, Ата, – сказал он, – гожусь я тебе в мужья?» Она ничего не отвечала, только хихикнула. «Я же говорю, милый мой Стрикленд, что девочка к тебе равнодушна», – настаивала я. «Я буду бить тебя», – сказал Стрикленд, глядя на Ату. «А как иначе я узнаю, что ты меня любишь?» – ответила она.

Тиаре прервала свой рассказ, задумалась и потом сказала:

– Мой первый муж, капитан Джонсон, постоянно колотил меня. Он был настоящий мужчина. Красавец собой, высокий – шесть футов три дюйма, и пьяный никакого удержу не знал. В такие дни я ходила вся в синяках и кровоподтеках. Ох, как я плакала, когда он умер. Думала, что не переживу его. Но по-настоящему я узнала цену своей потере, только выйдя замуж за Джорджа Рейни. Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. В жизни у меня не было большего разочарования. Рейни тоже был видный мужчина. Ростом чуть пониже капитана Джонсона и с виду крепкий. Но только с виду. Спиртного он в рот не брал. Ни разу меня не ударил. Ему бы быть миссионером. Я крутила романы с офицерами всех судов, которые входили в нашу гавань, а Джордж Рейни ничего не замечал. Под конец мне стало невтерпёж, и я развелась с ним. Зачем нужен такой муж? Ужас, как некоторые мужчины обращаются с женщинами.

Я повздыхал вместе с Тиаре, прочувствованно заметил, что мужчины спокон веков были обманщиками, и попросил продолжать рассказ о Стрикленде.

– Ладно, – сказала я ему, – спешить некуда. Обдумай все хорошенько. У Аты чудная комнатка во флигеле. Поживи с ней хотя бы месяц и проверь, понравится ли она тебе. Столоваться можешь у меня. А через месяц, если решишь жениться на ней, прямо переезжайте в ее дом и устраивайтесь». Он согласился. Ата продолжала работать по дому, а он ел у меня, как я и обещала. Кроме того, я научила Ату готовить несколько блюд, которые он любил. Писал он в то время мало, больше бродил по горам и купался. Часто сидел на берегу, не сводя глаз с лагуны, а под вечер ходил смотреть на остров Муреа или ловил рыбу. Любил он еще шататься в гавани и болтать с туземцами. Да, Стрикленд был славный, тихий малый. Каждый вечер после обеда они с Атой уходили во флигель. Я видела, что его уже тянет в лес, и в конце месяца спросила, на что он решился. Он отвечал, что если Ата согласна, он готов уйти с ней. Я устроила им свадебный обед, своими руками приготовила гороховый суп, омара *a la portugaise* [по-португальски (франц.)], кэрри и салат из кокосовых орехов, – кстати, вы, кажется, еще не пробовали у меня этого салата? Обязательно надо угостить вас, пока вы здесь, – и на сладкое я подала им мороженое. А сколько мы выпили шампанского и

потом еще ликеров! Я уж решила устроить пир на славу. После обеда мы танцевали в гостиной. Я еще так не разжирела тогда и до смерти любила танцевать.

Роль гостиной в отеле «Де ла Флер» выполняла небольшая комната со старым пианино и аккуратно расставленной вдоль стен мебелью красного дерева, обитой тисненым бархатом. На круглых столиках лежали альбомы фотографий, а стены были украшены увеличенными фотографическими портретами Тиаре и ее первого мужа, капитана Джонсона. И хотя Тиаре была уже стара и толста, мы как-то раз скатали брюссельский ковер, позвали девушек, кое-кого из друзей Тиаре и устроили танцы, правда, теперь под визгливые звуки граммофона. На веранде воздух был пропитан приятным ароматом Тиаре, и над нашими головами в безоблачном небе сиял Южный Крест.

Тиаре снисходительно улыбалась, вспоминая былое веселье.

– Мы танцевали до трех часов, – продолжала она свой рассказ, – и спать пошли еще очень нетрезвые. Я сказала молодым, чтоб они, пока есть дорога, ехали на моей двуколке, дальше им надо было большой путь пройти пешком. Участок Аты находился далеко в горах, в ущелье. Они выехали на рассвете, и бой, которого я послала с ними, вернулся только на следующий день.

Да, так вот женился Стрикленд.

## 52

Следующие три года были, наверно, самыми счастливыми в жизни Стрикленда. Домик Аты стоял в восьми километрах от большой дороги, опоясывавшей остров, и добираться к нему надо было по извилистой тропинке, осененной кронами пышных тропических деревьев. В этом бунгало из некрашеного дерева было всего две комнатки, рядом под навесом была устроена кухня. Все убранство дома состояло из нескольких циновок, служивших постелями, да качалки на веранде. Банановые пальмы с огромными, растрепанными листьями, что похожи на изодранную одежду императрицы в изгнании, толпились вокруг. Было там еще и грушевое дерево, и множество кокосовых пальм: кокосовые орехи – главный доход этих краев. Отец Аты насадил вокруг своего участка кротоновые кусты, и они росли теперь в буйном изобилии, словно ограда из веселых праздничных огней. Перед домом высилось манговое дерево, а по краям росчисти багряные цветы двух сросшихся тамариндов спорили с золотом кокосовых орехов.

Здесь жил Стрикленд, кормясь тем, что давала земля, и лишь изредка навевывался в Папеэте. Возле дома его и Аты протекала речка, в которой он купался. Случалось, что в нее заходили косяки морской рыбы. Тогда туземцы сбегались на берег, вооруженные острогами, и с шумом и криком вонзали их в огромных испуганных рыб, беспорядочно стремившихся назад, в море. Иногда Стрикленд ходил на мыс; он возвращался оттуда с омаром или с полной корзиной пестроперых рыбок, которых Ата жарила в кокосовом масле. Она стряпала еще и лакомое кушанье из крупных земляных крабов, то и дело попадающих под ноги в тех краях. В горах росли дикие апельсины, и Ата время от времени отправлялась туда с несколькими женщинами из соседней деревушки и приходила домой, сгибаясь под тяжестью зеленых, сладких, пахучих плодов. Когда поспевали кокосовые орехи, родичи Аты (у нее, как и у всех туземцев, была пропасть родни) взбирались на деревья и сбрасывали вниз огромные зрелые плоды. Они вскрывали их и раскладывали на солнце сушиться. Затем вырезали копру и набивали ею мешки, женщины взваливали их на себя и несли к скупщику, в деревню у лагуны; в обмен они получали рис, мыло, мясные консервы и немножко денег. В деревне по случаю праздника изредка закалывали свинью, тогда гости и хозяева наедались до тошноты, плясали и распевали религиозные песнопения.

Но дом Аты стоял на отшибе, а таитяне ленивы. Они любят кататься, любят судачить, но ходить пешком – это не для них; Стрикленд и Ата месяцами жили в полном одиночестве. Он писал картины, читал, а когда становилось темно, они сидели на веранде, курили и вглядывались в ночь. Потом у Аты родился ребенок, и бабка, принимавшая его, осталась жить у

них. Вскоре к бабке явилась ее внучка, а вслед за ней какой-то юнец – никто толком не знал, чей он и откуда, – но он тоже, не чинясь, поселился в доме. И все они зажили вместе.

## 53

– Tenez, voila le Capitaine Brunot [а вот и капитан Брюно (франц.)], – сказала однажды Тиаре, когда я пытался придать слитность тому, что она рассказала мне о Стрикленде. – Он хорошо знал Стрикленда и бывал у него в доме.

Передо мной стоял француз, уже в годах, с окладистой черной бородой, в которой виднелась проседь, с загорелым лицом и большими блестящими глазами. Одет он был в белоснежный полотняный костюм. Я обратил на него внимание еще за завтраком, и А-лин, китаец-бой, сказал мне, что он прибыл сегодня с пароходом из Паумоту. Тиаре познакомила нас, и он вручил мне визитную карточку, на которой стояло: «Рене Брюно» и пониже: «Капитан дальнего плавания». Мы сидели на маленькой веранде возле кухни, и Тиаре занималась кройкой платья для одной из горничных девушек. Капитан подсел к нам.

– Да, я был хорошо знаком со Стриклендом, – сказал он. – Я большой любитель шахмат, а Стрикленд всегда охотно играл. Я приезжал на Таити по делам раза три-четыре в год, и если мне удавалось застать его в Папее, мы приходили играть в отель «Де ла Флер». Когда он женился, – капитан Брюно с улыбкой пожал плечами, – enfin [здесь: то есть, словом (франц.)], когда он стал жить с девушкой, которую ему подсунула Тиаре, он позвал меня к себе. Я был гостем у него на свадьбе. – Капитан взглянул на Тиаре, и они оба рассмеялись. – Приблизительно через год, зачем и почему уж не помню, я очутился в той части острова. Покончив с делами, я сказал себе: «*Voilà*, почему бы мне не навестить беднягу Стрикленда?» Я стал расспрашивать туземцев, не знают ли они чего о нем, и выяснил, что он живет в каких-нибудь пяти километрах от того места, где я был. Ну, я и отправился к нему. Никогда мне не забыть этого посещения. Я живу на атолле – это низкая полоска земли, которая окружает лагуну, и красота там значит – море и небо, изменчивые краски лагуны и стройность кокосовых пальм. Но место, где жил Стрикленд, – поистине то были райские кущи. Ах, если бы я мог описать всю прелесть этого уголка, спрятанного от мира, синее небо и пышно разросшиеся деревья! Это было какое-то пиршество красок. Воздух благоухающий и прохладный. Нет, словами нельзя описать этот рай. И там он жил, не думая о мире и миром забытый. На европейский глаз все это, наверно, выглядело убого. Дом полуразрушенный и не слишком чистый. Когда я пришел, на веранде валялись несколько туземцев. Вы же знаете, они народ общительный. Один малый лежал, вытянувшись во весь рост, и курил, на нем не было ничего, кроме парео. (Парео – это длинный лоскут красного или синего ситца с белым узором. Туземцы обвязывают его вокруг бедер так, что впереди он спускается до колен.) Девушка лет пятнадцати плела шляпу из листьев пандануса, продолжал капитан Брюно, – какая-то старуха, сидя на корточках, курила трубку. Затем я увидел Ату. Она кормила грудью новорожденного, другой ребенок, совершенно голый, играл у ее ног. Увидев меня, она крикнула Стрикленда, и он появился в дверях. На нем тоже не было ничего, кроме парео. Право же, мне не забыть эту фигуру: всклокоченные волосы, рыжая борода, широкая волосатая грудь. Ноги у него были сбитые, все в мозолях и царапинах: я понял, что он всегда ходит босиком. Он стал настоящим туземцем. Мне он, по-видимому, обрадовался и тотчас же велел Ате зарезать к обеду цыпленка. Затем он потащил меня в дом показывать картину, над которой сейчас работал. В углу комнаты была навалена куча циновок, посередине стоял мольберт и на нем холст. Мне было жалко Стрикленда, и я купил у него по дешевке несколько картин для себя и для своих друзей во Франции. И хотя покупал я эти картины просто из сострадания, но постепенно полюбил их. Честное слово, мне в них виделась какая-то странная красота. Все считали меня сумасшедшим, а вот вышло-то, что я был прав. Я был первым его поклонником на островах.

Он бросил злорадный взгляд на Тиаре, которая снова, охая и ахая, принялась рассказывать о том, как на распродаже стриклендова имущества она не обратила внимания на кар-

тины, а купила американскую печку за двадцать семь франков.

– И эти картины еще у вас? – любопытствовал я.

– Да, я держу их, покуда моя дочь не станет невестой. Тогда я их продам, а деньги пойдут ей в приданое.

Затем он продолжил рассказ о своем посещении Стрикленда.

– Никогда я не забуду этого вечера. Я думал пробыть у него не больше часа, но он настойчиво просил меня остаться ночевать. Я колебался, мне, признаться, не очень-то нравился вид циновок, на которых мне предлагалось спать, но в конце концов согласился. Когда я строил себе дом на Паумоту, я месяцами спал на худшей постели, и над головой у меня были только ветки тропического кустарника; что же касается насекомых, то кожа у меня толстая и укусов не боится. Мы пошли на реку купаться, покуда Ата стряпала обед, а пообедав, сидели на веранде. Курили и болтали. Туземный юнец играл на концертино песенки, певшиеся в мюзик-холлах лет десять назад. Странно они звучали среди тропической ночи, за тысячи миль от цивилизованного мира. Я спросил Стрикленда, не тяготит ли его жизнь в глуши, среди всего этого народа. Нет, сказал он; ему удобно иметь модели под рукой. Вскоре туземцы, громко зевая, ушли спать, а мы с ним остались одни. Не знаю, как описать непроницаемую тишину этой ночи. На моем острове никогда не бывает такой полной тишины. У моря там стоит шорох мириадом живых существ, и крабы, шурша, копошатся в песке. По временам слышно, как где-то в лагуне прыгнула рыба или вдруг доносятся торопливые громкие всплески, – это рыбы спасаются бегством от акулы. И надо всем этим – извечный глухой шум прибоя. Но здесь ничто, ничто не нарушало тишины, и воздух был напоен ароматом белых ночных цветов. Так дивно хороша была эта ночь, что душа, казалось, не могла больше оставаться в темнице тела. Вы ясно чувствовали: вот-вот она унесется в горние страны, и даже смерть принимала здесь обличье друга.

Тиаре вздохнула.

– Ах, если бы мне было пятнадцать лет!

Тут она увидела кошку, крадущуюся к блюду с креветками на кухонном столе, проворно запустила книжкой ей вдогонку да еще излила на негодницу целый поток брани.

– Я спросил его, счастлив ли он с Атой. «Ата не пристаёт ко мне, – отвечал Стрикленд. – Она готовит мне пищу и смотрит за своими детьми. Она делает все, что я ей велю. И дает мне то, что я спрашиваю с женщины». – «И вы никогда не жалеете о Европе? Не скучаете по огням парижских или лондонских улиц, по друзьям, по людям, вам равным, или... – que sais-je [да мало ли (франц.)] – по театрам, газетам? Не хотите снова услышать, как омнибусы грохочут по булыжной мостовой?» Он долго молчал, потом ответил: «Я останусь здесь до самой смерти». – «Но неужто вам не бывает тоскливо, одиноко?» Он фыркнул: «Mon pauvre ami [мой бедный друг (франц.)], вы, видно, не понимаете, что такое художник».

Капитан Брюно мягко улыбнулся, и в его темных, добрых глазах появилось странное выражение.

– Стрикленд был несправедлив ко мне: я знаю, что такое мечты. И мне являлись видения. По-своему, и я художник.

Мы умолкли, а Тиаре вытащила из своего объемистого кармана пачку папирос, дала нам по одной, и мы все трое закурили. Наконец Тиаре прервала молчание:

– Раз уж monsieur так интересуется Стриклендом, почему бы вам не свести его к доктору Кутра? Доктор мог бы рассказать кое-что о его болезни и смерти.

– Volontiers [с удовольствием (франц.)], – отвечал капитан, глядя на меня.

Я поблагодарил. Он вынул часы.

– Уже седьмой. Мы застанем его дома, если пойдем сейчас же.

Я встал без дальнейших церемоний, и мы двинулись по дороге к докторскому дому. Он жил в предместье, но так как и отель «Де ла Флер» находился на окраине, то мы быстро вышли за город. Широкою дорожку осеняли перечные деревья, по обе ее стороны простирались плантации кокосовых пальм и ванили. Птицы-пираты чирикали среди пальмовых листьев. Проходя по каменному мосту, переброшенному через мелководную реку, мы остано-

вились посмотреть на купающихся мальчишек. Они гонялись друг за дружкой, пронзительно крича и смеясь, их мокрые коричневые тела блестели на солнце.

## 54

Покуда мы шли, я думал о том, что в последнее время, когда я столько слышал о Стрикленде, невольно привлекло мое внимание. На этом далеком острове к нему, видимо, относились не с озлоблением, как в Англии, но, напротив, сочувственно и охотно мирились со всеми его выходками. Эти люди – туземцы и европейцы – считали его чудачком, но чудачки были им не внове. Они считали вполне естественным, что мир полон странных людей, которые совершают странные поступки. Они понимали, что человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть. В Англии и во Франции Стрикленд был не к месту, а здесь находилось место для самых различных людей, не подходящих ни под какую мерку. Не то чтобы он на Таити стал добр, менее эгоистичен и груб, но оказался в условиях более благоприятных. Если бы он прожил здесь всю жизнь, то и считался бы не хуже людей. Здесь он получил то, чего не хотел, да и не ждал, от своих соотечественников, – доброжелательное отношение.

Я попытался объяснить капитану Брюно, почему все это удивляло меня, и он минутами молчал.

– Ничего нет удивительного, – сказал он наконец, – что я доброжелательно относился к Стрикленду, ведь у нас, хотя мы, быть может, и не подозревали об этом, были общие стремления.

– Какое же, скажите на милость, могло быть общее стремление у столь различных людей, как вы и Стрикленд? – улыбаясь, спросил я.

– Красота.

– Понятие довольно широкое, – пробормотал я.

– Вы ведь знаете, что люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви. Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь.

– Как странно, что вы это говорите! – воскликнул я. – Я давно думал, что Стрикленд был одержим бесом.

– Его страсть была – создать красоту. Она не давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в нем был беспощаден – и Стрикленд стал вечным странником, его терзала божественная ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, что готовы расшатать устои мира, лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему заменяла красота. Я чувствовал к нему лишь глубокое сострадание.

– И это тоже странно. Человек, которого Стрикленд жестоко оскорбил, однажды сказал мне, что чувствует к нему глубокую жалость. – Я немного помолчал. – Неужели вы и впрямь нашли объяснение человеку, который всегда казался мне непостижимым? Как вам пришло это в голову?

Он с улыбкой повернулся ко мне.

– Разве я вам не говорил, что и я, на свой лад, был художником? Меня снедало то же желание, что и Стрикленда. Но для него средством выражения была живопись, а для меня сама жизнь.

И капитан Брюно рассказал мне историю, которую я должен повторить на этих страницах, ибо она, хотя бы по контрасту, кое-что добавляет к моему представлению о Стрикленде. Для меня лично она имеет еще и собственную прелесть.

Капитан Брюно, бретонец по рождению, служил во французском флоте. Женившись, он вышел в отставку и поселился в своем имении, под Кампе, чтобы в тиши и покое прожить остаток своих дней, но из-за внезапного банкротства нотариуса, который вел его дела, остался без гроша. Ни капитан Брюно, ни его жена не пожелали жить нищими там, где не-



давно занимали видное положение в обществе. В свое время капитан плавал в Южных морях и теперь решил там искать счастья.

Несколько месяцев он прожил в Папеэте, чтобы оглядеться и набраться опыта; затем на деньги, взятые займы у одного друга во Франции, купил островок из группы Паумоту. Это была узкая полоска земли вокруг глубокой лагуны, необитаемая и заросшая кустарником да дикой гуавой. Вместе с бесстрашной молодой женщиной, своею женой, и несколькими туземцами он высадился на этот островок и принялся за постройку дома и расчистку земли под плантацию кокосовых пальм. Это было двадцать лет назад, а теперь бесплодный остров стал цветущим садом.

– Раньше это был адский труд, и мы с женой выбивались из сил. Я вставал на заре и корчевал, строил, сажал, а ночью бросался на постель и засыпал как убитый. Моя жена работала наравне со мной. Потом у нас родились дети, сын и дочь. Мы с женой обучали их всему, что знали сами. Я выписал пианино из Франции, и она стала учить их музыке и английскому языку, а я – латыни и математике. Мы все вместе читали книги по истории. Мои дети умеют управлять парусом. Плавают не хуже туземцев. Знают все о здешних краях. Деревья на моей плантации приносят щедрый урожай, и в лагуне есть перламутр. Сейчас я приехал на Таити покупать шхуну. Я могу добыть столько перламутра, что это не будет напрасным расходом, и кто знает, не удастся ли мне найти жемчуг. Там, где ничего не было, теперь все цветет. Я тоже создал красоту. Ах, вы не понимаете, что значит смотреть на высокие, крепкие деревья и думать: каждое посажено моими руками!

– Позвольте мне задать вам вопрос, который вы некогда задали Стрикленду. Неужели вы никогда не жалеете о Франции и своем старом доме в Бретани?

– Со временем, когда наша дочь выйдет замуж, а сын женится и сможет заменить меня на острове, мы с женой вернемся на родину и кончим свои дни в старом доме, где я родился.

– Вспоминая о счастливо прожитой жизни, – заметил я.

– Evidemment [разумеется (франц.)], на моем острове нет развлечений. Мы живем вдали от мира, ведь нам нужно четыре дня, чтобы добраться даже до Таити, – но мы счастливы. Мало кому дано начать работу и завершить ее. Наша жизнь простая и чистая. Мы не знаем честолюбия и гордимся только одним: тем, что пожинаем плоды своих трудов. Ни злоба ни зависть не мучают нас. Ах, mon cher monsieur [здесь: дорогой мой (франц.)], я часто слышал разговоры о благости труда, обычно это только пустые фразы, но для меня они полны глубочайшего смысла. Я счастливый человек.

– И вы, безусловно, это заслужили, – улыбаясь, заметил я.

– Я хотел бы так думать. Но я и сам не знаю, чем я заслужил такую жену – друга, помощницу, прекрасную возлюбленную и прекрасную мать моих детей.

Я задумался над тем, что рассказал мне капитан Брюно.

– Для того чтобы вести такую суровую жизнь и добиться такого большого успеха, вам обоим надо было обладать сильной волей и решительным характером.

– Возможно, но к этому добавилось еще и другое, иначе мы бы ничего не достигли.

– Что же именно?

Он остановился и несколько театральным жестом вытянул руку.

– Вера в бога. Без нее нам бы пропасть...

Мы как раз подошли к дому доктора Кутра.

## 55

Доктор Кутра был старый француз, огромного роста и очень толстый. Фигура его напоминала гигантское утиное яйцо, а глаза, пронзительные, голубые и добродушные, частенько с самодовольным выражением уставлялись на его громадное брюхо. Лицо у него было румяное, волосы седые. Такие люди, как он, с первого взгляда внушают симпатию. Доктор Кутра принял нас в комнате, какую можно увидеть в любом доме провинциального французского городка; две-три полинезийские редкости странно выглядели в ней. Он потряс

мою руку обеими руками – кстати сказать, огромными – и посмотрел на меня дружелюбным, хотя и очень хитрым взглядом. Здороваясь с капитаном Брюно, он учтиво осведомился о супруге и детках. Несколько минут они обменивались любезностями, затем немного посплетничали, обсудили виды на урожай копры и ванили и наконец перешли к цели моего визита.

Я перескажу своими словами то, что узнал от доктора Кутра, так как мне все равно не воссоздать его живого, образного рассказа. У доктора был низкий, звучный голос, вполне соответствовавший его мощному облику, и безусловный актерский талант. Слушать его было интереснее, чем сидеть в театре.

Как-то раз доктору Кутра пришлось поехать в Таравао к захворавшей правительнице племени; он живо описал, как эта тучная старуха возлежала на огромной кровати, куря папиросы, а вокруг нее суежилась толпа темнокожих приближенных. После того как он ее осмотрел, его пригласили в другую комнату и стали потчевать обедом: сырой рыбой, жареными бананами, цыплятами – *que sais-je* [здесь: да мало ли чем еще (франц.)], излюбленными кушаньями туземцев, – и за едой он заметил заплаканную молодую девушку, которую гнали прочь от двери. Он не обратил на это особого внимания, но, когда вышел садиться в свою двуколку, чтобы ехать домой, опять увидел ее; она стояла в сторонке, и слезы градом лились по ее щекам. Он спросил какого-то малого, почему она плачет, и в ответ услышал, что она пришла с гор звать его к белому человеку, который тяжело заболел. А ей сказали, что доктора нельзя беспокоить. Тогда он подозвал девушку и спросил, чего она хочет. Она ответила, что ее послала Ата, которая раньше служила в отеле «Де ла Флер», и что Красный болен. Девушка сунула ему в руку измятый кусок газеты, в котором оказался стофранковый билет.

– Кто такой Красный? – спросил доктор у кого-то из туземцев.

Ему объяснили, что так называют англичанина, художника, который живет с Атой в долине, километрах в семи отсюда. По описанию он узнал Стрикленда. Но в долину можно добраться только пешком, а доктору ходить пешком не подобает, поэтому-то они и отгоняли от него девушку.

– Признаюсь, – сказал доктор Кутра, обернувшись ко мне, – что меня взяло сомнение. Отмахать четырнадцать километров по горной тропинке – не слишком большое удовольствие, да и ночевать домой уж не попадешь. Вдобавок Стрикленд был мне не по нутру. Туняец, который предпочитал жить с туземкой, чем зарабатывать свой хлеб, как все мы, грешные. *Mon Dieu* [Господи (франц.)], ну откуда мне было знать, что со временем весь мир признает его гением? Я спросил девушку, неужто он так болен, что не может сам прийти ко мне. И еще спросил, что с ним такое. Она молчала. Я настаивал, пожалуй, сердито, она опустила глаза и опять расплакалась. Я пожал плечами: в конце концов мой долг идти, и я пошел за ней в прескверном настроении.

Настроение доктора, конечно, не улучшилось, когда он наконец добрался до них, весь в поту и умирая от жажды. Ата дожидалась его и пошла по тропинке ему навстречу.

– Первым делом дайте мне пить, – закричал я, – не то я сдохну от жажды. *Pour l'amour de Dieu* [ради всего святого (франц.)], дайте кокосовый орех.

Она кликнула какого-то мальчишку, он примчался, влез на дерево и сбросил спелый орех. Ата проткнула дырку в скорлупе, и доктор жадно припал к освежающей струйке. Затем он свернул папиросу, и настроение его улучшилось. – Ну, где же ваш Красный?

– Он в доме, рисует картину. Я не сказала ему, что вы придете. Пожалуйста, взгляните на него.

– А на что он жалуется? Если он в состоянии работать, то мог бы сам прийти в Таравао и избавить меня от этой проклятой беготни. Я полагаю, что мое время не менее дорого, чем его.

Ата промолчала и вместе с мальчиком пошла за доктором к дому. Девушка, которая привела его, уже сидела на веранде: здесь же, у стены, лежала какая-то старуха и крутила папиросы на туземный манер.

Ата указала ему дверь. Доктор, сердясь на то, что все они так странно себя ведут, вошел и увидел Стрикленда, занятого чисткой палитры. Стрикленд в одном парео стоял спиной к двери возле мольберта с картиной. Он обернулся на шум шагов и бросил на доктора неприязненный взгляд. Он был удивлен и рассержен этим вторжением. Но у доктора перехватило дыхание, ноги его приросли к полу: он во все глаза смотрел на Стрикленда. Нет, этого он не ждал. Мороз пробежал у него по коже.

– Вы входите довольно бесцеремонно, – сказал Стрикленд. – Чем могу служить?

Доктор уже справился с собой, но голос не сразу вернулся к нему. Всю его злость как рукой сняло, и он почувствовал – *et bien, oui je ne le nie pas* [что ж, я этого не отрицаю (франц.)] – как его захлестнула жалость.

– Я доктор Кутра. Я был в Таравао, у старой правительницы, и Ата послала туда за мной.

– Ата дура. У меня, правда, были какие-то боли в суставах и небольшая лихорадка, но это пустяки и скоро пройдет. Когда кто-нибудь пойдет в Папезте, я велю купить мне хины.

– Посмотрите на себя в зеркало.

Стрикленд взглянул на него, улыбнулся и подошел к дешевенькому зеркальцу в узкой деревянной рамке, висевшему на стене.

– Ну и что?

– Разве вы не замечаете перемены в вашем лице? Не замечаете, как утолстились ваши черты и стали походить... в книгах это называется львиный лик. *Mon pauvre ami*, неужели мне надо сказать вам, какая у вас страшная болезнь?

– У меня?

– Посмотрите на себя еще раз, и вы увидите ее типичные признаки.

– Вы шутите, – сказал Стрикленд.

– Я был бы счастлив, если бы мог шутить.

– Вы хотите сказать, что у меня проказа?

– К несчастью, в этом нет сомнения.

Доктор Кутра многим объявлял смертный приговор, и все же не мог победить ужаса, который его при этом охватывал. Он всякий раз чувствовал, как яростно должен приговоренный ненавидеть его, доктора, цветущего, здорового, обладающего бесценным правом – жить. Стрикленд молча смотрел на него. Лицо его, уже обезображенное страшной болезнью, не выражало ни малейшего волнения.

– Они знают? – спросил он наконец, кивнув головой в сторону тех, что сидели на веранде в непривычном, странном молчании.

– Туземцы хорошо знают признаки этой болезни, – ответил доктор. – Они боялись сказать вам.

Стрикленд шагнул к двери и выглянул. Наверно, страшное у него было лицо, потому что на веранде все разом завопили и запричитали, а потом разразились плачем. Стрикленд молчал. Посмотрев на них несколько секунд, он вернулся в комнату.

– Как долго я, по-вашему, могу протянуть?

– Кто знает? Иногда болезнь длится двадцать лет. Это счастье, если она протекает быстро.

Стрикленд подошел к мольберту и задумчиво посмотрел на картину.

– Вы проделали нелегкий путь. По справедливости, тот, кто принес важные вести, должен быть вознагражден. Возьмите эту картину. Сейчас она ничего для вас не значит, но, возможно, когда-нибудь вы обрадуетесь, что она у вас есть.

Доктор Кутра протестовал. Ему не нужно никакой платы: стофранковый билет он уже успел вернуть Ате. Но Стрикленд настаивал. Затем они вместе вышли на веранду. Туземцы плакали в голос.

– Успокойся, женщина. Вытри слезы, – сказал Стрикленд Ате. – Тебе нечего бояться. Я очень скоро оставлю тебя.

– А тебя не отнимут у меня?

В те времена на островах еще не было закона об обязательной изоляции прокаженных; они могли оставаться на свободе.

– Я уйду в горы, – сказал Стрикленд.

Тогда Ата поднялась и посмотрела ему прямо в глаза.

– Пусть другие уходят, если хотят, я тебя не оставлю. Ты мой муж, а я твоя жена. Если ты уйдешь от меня, я повешусь вон на том дереве за домом. Богом клянусь тебе.

Она говорила грозно и властно. Это была уже не покорная робкая девушка-туземка, а женщина сильная и решительная. Она стала неузнаваемой.

– Зачем тебе оставаться со мной? Ты можешь вернуться в Папезте, там ты скоро найдешь себе другого белого мужчину. Старуха присмотрит за твоими детьми, а Тиаре охотно возьмет тебя обратно.

– Ты мой муж, а я твоя жена. Где будешь ты, там буду и я.

На мгновение силы изменили Стрикленду; слезы выступили у него на глазах и медленно покатались по щекам. Затем он опять улыбнулся обычной своей сардонической улыбкой.

– Удивительные существа эти женщины, – сказал он доктору. – Можно обращаться с ними хуже, чем с собакой, можно бить их, пока руки не заболят, а они все-таки любят вас. – Он пожал плечами. – Одна из нелепейших выдумок христианства – будто у них есть душа.

– Что ты говоришь доктору? – подозрительно спросила Ата. – Ты не уйдешь от меня?

– Если ты хочешь, я останусь с тобой, девочка.

Ата бросилась перед ним на колени, обхватила руками его ноги и поцеловала. Стрикленд смотрел на доктора Кутра со слабой улыбкой.

– В конце концов они покоряют вас, и вы беспомощны в их руках. Белые или коричневые, все они одинаковы.

Доктор Кутра знал, что глупо говорить слова соболезнования по поводу такого страшного несчастья, и молча откланялся. Стрикленд велел Танэ, мальчику, проводить его до деревни.

Доктор помолчал и, обращаясь ко мне, прибавил:

– Я ведь вам уже говорил, что Стрикленд был мне не по нутру. Я его недолюбливал. Но, когда я медленно спускался в Таравао, я с невольным восхищением думал о мужестве этого человека: так стойчески перенести это страшнейшее несчастье! На прощание я сказал Танэ, что пришлю кое-какие лекарства, но я не очень надеялся, что Стрикленд будет принимать их, и еще меньше – что они принесут какую-нибудь пользу. Я также просил мальчика передать Ате, что приду, когда бы она за мной ни послала. Жизнь – жестокая штука, и природа иногда страшно глумится над своими детьми. С тяжелым сердцем вернулся я в свой уютный дом в Папезте.

Долгое время мы все молчали.

– Но Ата не присылала за мной, – снова начал доктор, – и как-то так получилось, что я долго не был в той части острова. О Стрикленде я ничего не знал. Раза два я, правда, слышал, что Ата приходила в Папезте покупать краски, но видеть ее мне не довелось. Прошло больше двух лет, прежде чем я снова попал в Таравао, все к той же старой правительнице. Там я спросил, не слышно ли чего о Стрикленде. Теперь все уже знали, что у него проказа. Первым из дому ушел Танэ, а вскоре старуха и ее внучка. Стрикленд с Атой и детьми остались совершенно одни. Никто даже близко не подходил к их плантации, вы не можете себе представить, какой ужас здешние люди испытывают перед этой болезнью; в старину, если у человека обнаруживалась проказа, они просто убивали его. Только мальчишки из ближней деревни, забравшись далеко в горы, видели иногда белого человека с косматой рыжей бородой. Тогда они в страхе удирали. Случалось еще, что Ата ночью спускалась в деревню и будила лавочника, чтобы купить у него самое необходимое. Она знала, что на нее смотрят с не меньшим испугом и отвращением, чем на Стрикленда, и всячески старалась избегать встреч с людьми. Однажды женщины, случайно оказавшиеся вблизи плантации, увидели, что она стирала белье в речке, и забросали ее камнями. После этого лавочнику велено было передать

ей, что, если ее еще раз застанут на речке, мужчины из деревни подожгут ее дом.

– Звери, – сказал я.

– Mais non, mon cher monsieur [вовсе нет, мой дорогой (франц.)], люди – всегда люди. Страх толкает их на жестокость... Я решил навестить Стрикленда, и после осмотра больной попросил, чтобы мне дали кого-нибудь в проводники. Но никто не решался идти со мной, и я отправился один.

Когда доктор Кутра пришел на плантацию, щемящая тоска сдавила его сердце. Он дрожал, хотя и разгорячился от ходьбы. Что-то зловещее носилось в воздухе и мешало идти дальше. Словно таинственные силы преграждали ему путь. Чьи-то невидимые руки тянули его назад. Никто не приходил сюда собирать кокосовые орехи, и они гнили на земле. Запустение царило повсюду. Кустарник буйно разросся, и девственный лес, казалось, готов был вновь захватить эту полоску земли, отнятую у него ценой такого тяжелого труда. «Это обитель страдания», – подумалось доктору. Когда он подошел к дому, нездешняя тишина поразила его; он решил, что дом покинут. Затем он увидел Ату. Она сидела на корточках под навесом, служившим им кухней, и что-то варила в котелке. Ребенок молча возился в грязи рядом с нею. Увидев доктора, она не улыбнулась.

– Я пришел взглянуть на Стрикленда, – сказал он.

– Пойду скажу ему.

Она направилась к дому, взошла по ступенькам на веранду и отворила дверь. Доктор Кутра шел за нею, но помедлил, повинаясь ее знаку. Когда дверь приоткрылась, на него пахнуло тошнотворно сладким запахом, который делает нестерпимой близость прокаженного. Доктор услышал, как что-то сказала Ата, затем услышал ответ Стрикленда, но не узнал его голоса. Он звучал хрипло, слов было не разобрать. Доктор Кутра поднял брови, он понял: болезнь уже бросилась на голосовые связки. Ата опять вышла на веранду.

– Он не хочет вас видеть. Вам надо уйти.

Доктор настаивал, но Ата не впускала его. Тогда он пожал плечами и повернул обратно. Ата пошла за ним. Он чувствовал, что ей тоже хочется поскорей его спровадить.

– Значит, я ничего не могу сделать для вас? – спросил он.

– Вы можете прислать ему красок, больше он ничего не хочет.

– Он еще может работать?

– Он рисует на стенах дома.

– Какая страшная жизнь для вас, дитя мое.

Ата наконец улыбнулась, и сверхчеловеческая любовь засветилась в ее глазах. Доктор Кутра был потрясен. Благоговейное чувство охватило его. Он не нашелся, что сказать.

– Он мой муж, – сказала Ата.

– Где ваш второй ребенок? – спросил он. – Прошлый раз я видел двоих.

– Он умер. Мы похоронили его под манговым деревом.

Ата прошла с ним еще немного и сказала, что ей пора возвращаться. Доктор Кутра понял, что она боится встретить кого-нибудь из деревни. Он повторил, что, если понадобится ей, пусть она пришлет за ним, он придет тотчас же.

## 56

Прошло еще года два, может быть, и три, ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет, когда к доктору Кутра пришла весть, что Стрикленд умирает. Ата остановила почтовую повозку на дороге в Папеэте и умолила возницу заехать к доктору. Но доктора не оказалось дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком семь километров до дома Аты. Тропинка заросла, по ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь, по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника, чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его головой, ему приходи-

лось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина.

У доктора вырвался вздох облегчения, когда он наконец увидел маленький некрашенный домишко, теперь обветшавший и грязный; но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик, беспечно игравший на солнцепеке, испуганно шарахнулся от него, – здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул – никто не отозвался. Он вошел. Постучался, но и на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке, и после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены.

– Mon Dieu, неужто у меня солнечный удар, – пробормотал доктор.

Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала.

– Ата, – позвал он, – Ата!

Она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его. От пола до потолка стены покрывала странная и сложная по композиции живопись. Она была неопишимо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу, восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное; и в то же время это было страшно, он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны – прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное. Более того – нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно.

– Бог мой, он гений!

Эти слова вырвались у доктора помимо его воли.

Затем его взгляд упал на груды циновок в углу, он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклендом. Стрикленд был мертв. Доктор Кутра взял себя в руки и склонился над изуродованным трупом. Но тут же вздрогнул, сердце его на миг перестало биться от ужаса: кто-то стоял за ним! Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он.

– Господи ты боже мой, мои нервы никуда не годятся. Вы меня до смерти напугали. – Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся.

– Он был слеп?

– Да, он ослеп уже год назад.

## 57

Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах; весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом, с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддавалась расслабляющему очарованию тропиков; напротив, была даже более деятельной, более светской и энергичной, чем можно представить себе даму в умеренном климате. Неистощимая говорунья, она тотчас же излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы только что вели, стал казаться далеким и нереальным.

Наконец доктор Кутра прервал ее.

– У меня в кабинете все еще висит картина Стрикленда. Хотите взглянуть?

– С удовольствием.

Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в его саду.

– Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах стриклендова дома, – задумчиво проговорил он.

Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикленд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он, верно, сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И, кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был наконец изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой к которой была вся его жизнь, покой снизошел на его страдавшуюся, мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение.

– А что изображала эта роспись?

– Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские куши, Адама и Еву – *que sais-je?* [как вам объяснить? (франц.)] – это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского, славословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывало от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день, кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, груши аллигатор, – и с тех пор вижу совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомые мне, и в то же время другие. В них было собственное, им одним присущее значение. А эти нагие люди, мужчины и женщины! Земные и, однако, чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов, и мороз продирает вас по коже, потому что это были вы сами.

Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся.

– Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный, толстый мужчина – Фальстаф, что ли? Лирика не к лицу. Я выставляю себя на посмешище. Но даю вам слово, никогда в жизни искусство не производило на меня никакого впечатления. Терез [право (франц.)], то же самое чувство я испытал в Сикстинской капелле. Я благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которое явилось мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален. В его творениях – спокойствие величия, но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно. Но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты, наверное зная, что в ней никого нет, и в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бранишь себя; ведь это пустое, нервы... и тем не менее... Минута-другая – и ты уже не можешь бороться со страхом, непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены.

– Уничтожены! – воскликнул я.

– Mais out [ну да (франц.)], разве вы не знали?

– Откуда мне знать? Я никогда раньше не слышал об этих вещах, но, слушая вас, надеялся, что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера. Ведь полного списка стриклендовых работ еще и поныне не существует.

– Когда он ослеп, он часами сидел в этих двух расписанных им комнатках, незрячими глазами смотрел на свои творения и видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. Ата говорила мне, что он никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался ясным и добрым. Но он взял с нее слово, что когда она похоронит его – я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл

для него могилу, так как никто из туземцев не решался подойти к зараженному дому, мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом, – так вот, он взял с нее слово, что она подожжет дом и не уйдет, покуда он не сгорит дотла.

Я довольно долго молчал и думал, потом сказал:

– Значит, он до конца остался таким, как был.

– Вы полагаете? А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия.

– Даже после того, что вы мне рассказали?

– Да, я ведь уже понял, что это создание гения, и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел, не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах, и уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила парафином пол, панданусовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки, великого произведения искусства более не существовало.

– По-моему, Стрикленд знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена. Он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его.

– Ну, да пора уже показать вам картину, – сказал доктор Кутра и пошел к двери.

– А что случилось с Атой и ее ребенком?

– Они уехали на Маркизские острова. У нее там родственники. Я слышал, что ее сын служит на какой-то шхуне. Говорят, он очень похож на отца.

У самой двери в кабинет доктор остановился.

– Это натюрморт с фруктами, – улыбаясь, сказал он. – Вы скажете, сюжет не слишком подходящий для кабинета врача, но моя жена не желает терпеть эту картину в гостиной. По ее мнению, она слишком непристойна.

– Непристойна! Но ведь это натюрморт! – в изумлении воскликнул я. Мы вошли в кабинет, и картина сразу бросилась мне в глаза. Я долго смотрел на нее. Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек.

Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпислазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскрешавшей в памяти смутные видения Римской империи Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей, – но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоположной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории Земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их – значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли неожиданными опасностями и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога. Все здоровое и естественное, все приверженное добру и простым радостям простых людей должно было в страхе отшатнуться от этих плодов, – и все же была в них необоримо притягательная сила: подобно плоду от древа познания добра и зла, они были чреватые всеми возможностями Неведомого. Я не выдержал и отвел глаза. Теперь я знал, что Стрикленд унес свою тайну в могилу.

– *Voyons Rene, mon ami* [послушай, Рене, друг мой (франц.)], – послышался громкий



бодрый голос мадам Кутра. – Что вы там делаете так долго? Вас ждут аперитивы. Спроси мсье, не хочет ли он рюмочку хинной Дюбоннэ.

– Volontiers, мадам, – ответил я, выходя на веранду.

Чары были разрушены.

## 58

Пришло время моего отъезда с Таити. Согласно гостеприимному обычаю острова, все, с кем я здесь встречался, преподнесли мне подарки: корзиночки, сплетенные из листьев кокосовых пальм, циновки из пандануса, веера. Тиаре подарила мне три маленьких жемчужины и три банки желе из гуавы, сваренного ее собственными пухлыми руками. Когда почтовый пароход, по пути из Веллингтона в Сан-Франциско на сутки заходивший в Таити, дал последний гудок, призывая пассажиров на борт, Тиаре прижала меня к своей могучей груди – я точно погрузился в зыблющиеся волны, – и крепко поцеловала в губы. На глазах у нее блестели слезы. И когда мы медленно выбирались из лагуны, осторожно лавируя между рифами, и наконец вышли в открытое море, на душе у меня было печально. Бриз все еще доносил до нас чарующие ароматы острова. Таити – дальний край, и я знал, что больше никогда не увижу его. Еще одна глава моей жизни закончилась, и я почувствовал себя ближе к неизбежной смерти.

Через месяц я был уже в Лондоне; устроив свои наиболее неотложные дела, я написал миссис Стрикленд, полагая, что ей интересно будет послушать мой рассказ о последних годах ее мужа. В последний раз я виделся с нею задолго до войны, и теперь мне пришлось разыскивать ее адрес по телефонной книге. Она назначила мне день, и я пришел в ее новый нарядный домик на Кэмпден-хилл. Ей, должно быть, было уже под шестьдесят, но она легко несла бремя своих лет, и больше пятидесяти никто бы ей не дал. Лицо ее, худое и не слишком морщинистое, принадлежало к тому типу лиц, что в старости становятся особенно благообразными. По теперешнему виду миссис Стрикленд можно было предположить, что в молодости она была очень хороша собою, чего на самом деле никогда не было. Волосы, не седые, но с проседью, она причесывала очень элегантно, и ее черное платье было сшито по последней моде. Кто-то мне говорил, и теперь я это вспомнил, что ее сестра, миссис Мак-Эндрю, пережившая мужа всего на два года, оставила ей свое состояние; судя по дому и нарядной горничной, которая открыла мне дверь, это была сумма, вполне достаточная для пристойного существования вдовы.

В гостиной я застал еще одного гостя и, узнав, кто он, понял, что меня не без умысла пригласили именно на этот час. Миссис Стрикленд представила меня мистеру ван Буш-Тэйлору с такой очаровательной улыбкой, что казалось, она извиняется за меня перед этим почтенным американцем.

– Мы, англичане, так ужасно невежественны. Вы уж простите меня за вынужденное объяснение. – С этими словами она обернулась ко мне. – Мистер ван Буш-Тэйлор – выдающийся американский критик. Если вы не читали его книги, это большой пробел в вашем образовании, и вам следует немедленно его восполнить. Сейчас мистер Тэйлор пишет о нашем дорогом Чарли и приехал ко мне с просьбой кое в чем помочь ему.

Мистер ван Буш-Тэйлор был весьма сухопарый мужчина с большим лысым черепом, отчего его желтое лицо, изборожденное глубокими морщинами, казалось совсем маленьким. Он говорил с американским акцентом и был необыкновенно учтив и сдержан. Глядя на его ледяное спокойствие, я невольно спрашивал себя, какого черта он заинтересовался Чарльзом Стриклендом. Меня позабавила нежность, с которой миссис Стрикленд упомянула о своем муже, и куда они оба разговаривали, я рассмотрел комнату. Миссис Стрикленд не отстала от времени. Шпалеры Морриса и строгий кретон исчезли бесследно, равно как и гравюры Эрнделя, некогда украшавшие ее гостиную на Эшли-гарден. Теперь здесь сверкали яркие краски, и я задавался вопросом, знает ли миссис Стрикленд, что эти фантастические тона, предписанные модой, обязаны своим возникновением мечтам бедного художника на дале-

ком острове в Южных морях? Она сама ответила мне на этот вопрос.

– Какие у вас изумительные подушки, – сказал мистер ван Буш-Тэйлор.

– Вам они нравятся? – улыбаясь, спросила она. – Это Бакст.

А на стенах висели цветные репродукции с лучших картин Стрикленда, выпущенные в свет неким берлинским издателем.

– Вы смотрите на мои картины, – сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом. – Оригиналы, конечно, мне недоступны, но я рада и этим копиям. Мне прислал их издатель. Это большое утешение для меня.

– Должно быть, очень приятно жить среди этих картин, – заметил мистер ван Буш-Тэйлор.

– Да, они так декоративны.

– Мое глубочайшее убеждение, – сказал мистер ван Буш-Тэйлор, – что подлинное искусство всегда декоративно.

Глаза его и миссис Стрикленд остановились на обнаженной женщине, кормящей грудью ребенка. Рядом с ней молодая девушка, стоя на коленях, протягивала цветок не видящему ее младенцу. На них смотрела старая морщинистая ведьма. Это была стриклендова версия святого семейства. Я подозревал, что моделями для этих фигур служили его таитянские домочадцы, а женщина и ребенок были Ата и ее первенец. «Но знает ли что-нибудь об этом миссис Стрикленд?» – спрашивал я себя.

Разговор продолжался, и мне оставалось только дивиться такту, с которым мистер ван Буш-Тэйлор обходил все, что могло бы смутить хозяйку, и ловкости миссис Стрикленд: не говоря ни слова лжи, она давала ему понять, что с мужем у нее всегда были наилучшие отношения. Наконец мистер ван Буш-Тэйлор поднялся и стал прощаться. Держа руку миссис Стрикленд, он рассыпался в изящнейших и изысканнейших благодарностях.

– Надеюсь, он не очень наскучил вам, – сказала она, едва только за ним закрылась дверь. – Конечно, это утомительное занятие, но я считаю себя обязанной рассказать людям о Чарли все, что могу рассказать. Быть женою гения – немалая ответственность.

Она посмотрела на меня открытым и ясным взглядом, таким же, как двадцать с лишним лет назад. «Уж не смеется ли она надо мной?» – подумал я.

– Вы, конечно, закрыли свое дело? – спросил я.

– О да, – небрежно отвечала миссис Стрикленд. – Я ведь тогда занялась этим больше от скуки, чем еще по каким-нибудь причинам, и дети уговорили меня продать контору. Они считали, что я переутомляюсь.

Миссис Стрикленд явно позабыла, что в свое время ей пришлось «унизиться» до того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только на чужой счет.

– Мои дети сейчас здесь, – сказала она. – Я подумала, что им интересно будет послушать об отце. Вы помните Роберта? Могу похвалиться. Он представлен к военному кресту.

Она открыла дверь и позвала детей. В комнату вошел высокий мужчина в хаки, но с пасторским воротником, несколько тяжеловатый, красивый, все с теми же правдивыми глазами, которые были у него в детстве. Следом шла его сестра. Ей, верно, было столько же лет, сколько ее матери, когда я с ней познакомился, и она очень на нее походила. По ее виду тоже казалось, что в детстве она была очень хорошенькой, хотя на самом деле это было не так.

– Вы их, конечно, не узнаете, – горделиво улыбаясь, заметила миссис Стрикленд. – Моя дочь теперь миссис Роналдсон. Ее муж майор артиллерии.

– Он у меня настоящий солдат, – весело сказала миссис Роналдсон. – Потому он и не пошел дальше майора.

Мне вспомнилось, как я почему-то был уверен, что она выйдет замуж за военного. Это было неизбежно. У нее все повадки «военной» дамы. Очень любезная и скромная, миссис Роналдсон не могла скрыть своего убеждения, что она не такая, как все. У Роберта манеры были непринужденные.

– Как это удачно, что я оказался в Лондоне к вашему возвращению, – сказал он. – У меня отпуск всего на три дня.

– Он всей душой рвется назад, в свою часть, – заметила его мать.

– Не скрою, что я там отлично провожу время. У меня завелось много приятелей. Это настоящая жизнь. Война, конечно, ужасная штука и так далее и тому подобное, но она выявляет в человеке все лучшее, это несомненно.

Я рассказал им все, что слышал о жизни Чарлза Стрикленда на Таити. Говорить об Ате и ее сыне я счел излишним, но во всем остальном был, по мере возможности, точен. Кончил я рассказом о страшной его смерти. Минуту-другую в комнате царило молчание. Затем Роберт Стрикленд чиркнул спичкой и закурил.

– Жернова господни мелют хоть и медленно, но верно, – внушительно сказал он.

Миссис Стрикленд и миссис Роналдсон благочестиво опустили глаза долу, они явно сочли эти слова цитатой из Священного писания. Мне показалось, что и Роберт Стрикленд разделяет это заблуждение. Сам не знаю почему, я вдруг подумал о сыне Стрикленда и Аты. Мне говорили на Таити, что он веселый, приветливый юноша. Я словно воочию увидел его на шхуне, полуголым, только в коротких штанах. День у него проходит в труде, а ночью, когда шхуна легко скользит по волнам, подгоняемая попутным ветерком, матросы собираются на верхней палубе; покуда капитан с помощниками отдыхают в шезлонгах, попыхивая трубками, он неистово пляшет с другим юношей под визгливые звуки концертино. Над ним густая синева небес, звезды и, сколько глаз хватает, пустыня Тихого океана.

Цитата из Библии вертелась у меня на языке, но я попридержал его, зная, что духовные лица считают кощунством, если простые смертные забираются в их владения. Мой дядя Генри, двадцать семь лет бывший викарием в Уитстебле, в таких случаях говаривал, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии. Он еще помнил те времена, когда за шиллинг можно было купить даже не дюжину лучших устриц, а целых тринадцать штук.